



**Владимир
ГАНДЕЛЬСМАН**

разум слов

владимир гандельсман



Поэтическая библиотека

Серия основана в 1993 году

Владимир Гандельсман

р а з у м с л о в

москва 2015



УДК 821.161.1-1
ББК 84Р7-5
Г19

дизайн серии
Валерий Калныньш

Гандельсман В.

Г19 Разум слов. — М.: Время, 2015. — 576 с. — (Поэтическая библиотека).

ISBN 978-5-9691-1404-3

В книгу Владимира Гандельсмана вошли стихи, написанные за последние сорок лет. Первая часть книги — избранное до 2000 года. Вторая — книги стихов, вышедшие отдельными изданиями после 2000 года.

ББК 84Р7-5

ISBN 978-5-9691-1404-3



9

785969 114043

© Владимир Гандельсман, 2015

© «Время», 2015

РАЗУМ СЛОВ

**«Человеку нужна
только комната...»**

* * *

Как ты нелюбишь, как зима черна,
как нелюбовь твоя непредставима,
о, всё, чем жив — тобой, твоим, твоими,
на всё твоё душа обречена,
не дай любить кому-нибудь, как я
тебя, и вспоминать, как вспоминаю,
как ты нелюбишь, будто жизнь иная
нам предстоит, любимая моя.

* * *

Я люблю твою жизнь, что согрета теплом изнутри,
от тебя независимо, взятую всею тобою,
у окна, где дрожат осыпающиеся фонари
и уходит трамвай к Блохину, словно зверь к водопою.

Я тем больше люблю её, что не могу сохранить
так, чтоб ты её тоже любила и, больше не споря,
чтоб душа твоя в силах была повторить
эту чистую линию тела, лишённую горя.

О твоём белоснежном объёме, имеющем зренье и слух,
о гордыне твоей в драгоценном сосуде,
говорю о тебе, о твоём умирающем чуде —
так смиренно создать мог не гордый, но любящий дух.

ДАНТЕ

Я в неоплатном пред тобой долгу
за оголённость слова до весла,
которым толщу океана гну.
Прощай навеки, ты меня спасла.

Я знаю, с кем я разговор веду,
и если слышен в голосе металл,
то это к непосильному труду.
Я видел куст — он кровью истекал.

Не узришь ты ни скорбного лица,
ни слёз моих, их бездна подо мной,
горбатое усилие гребца
не знает этой немощи земной.

Не до друг друга, мы теперь — одно,
езде тебе пристанище, как мне
изгнание повсюду суждено.

* * *

Тихопомешанному на муравьях
чайка была продолженьем ладони,
с пепельной славой на тонких крылах
и в летаргическом полунаклоне.

Он растворялся в соседних мирах.
Бледным цветком, прозябающим в скалах,
осенью в сердце селившийся страх
так и дрожал среди родственных малых.

Жизнью соринки, что слишком мала,
тихопомешанному увлечься
было всегда перед сном и улечься
с радостным риском — была не была!

Всё продолжается — только и знал,
было движение — так он и помнил,
только и видел: соломинку поднял,
на муравьиной тропе исчезал.

* * *

Снег — на землю, душа — от земли,
вам сегодня меняться местами.
Что ты медлишь, душа? Утоли
этот замысел. Больно?

Так зачем привязалась ко мне?
Наш разлад — он затеян над нами.
Ты любила кого-нибудь? Нет.
А со мной породнилась невольно.

Всё кому-нибудь принадлежит.
Снег и снег, как попытка оспорить,
исчезая, летит и летит,
так прекрасен, что боязно вторить.

Ну и всё же скажи, мы могли
полюбить, как пришли, — не владея?

* * *

В области пчёл, в рыжей стране с солнечной осью,
там, где паук плёл мои сны по древесине,
я собирал дождь золотой или колосья
и на веранде павлин плыл в керосине.

Книгою мне лес пламенел, набранный густо
временем игл, липкой листвой и запятыми
угольных мух, влажным камням — влажное чувство
вторило и растворялось в полуденном дыме.

Этот песок вдоль по ступням к пяткам сандалий,
гретый асфальт или залив в отмелях белых,
россыпь мальков, хрупкий хрусталь рыбьих печалей,
их позвонки, перезвон слёз тонкотелых.

Если бы мог, если бы смел я усомниться
в том, что живу, прежде не жив, или растение
если бы смел не называть умершей птицей
или птицу не называть ангельской тенью,

то и тогда...

* * *

Сквозь тьму непролазную, тьму азиатскую, тьму,
где трактор стоит, не имея любви ни к кому,
и грязи по горло, и меркнет мой разум,
о, как я привязан к Земле, как печально привязан!

Ни разу так не были дороги ветви в дожде,
от жгучего, влажного и торопливого чтенья
я чувствую, как поднимается сердцебиенье
и как оно глохнет, забуксовав в борозде.

Ни разу ещё не желалось столь жадно жить,
так дышит лягушка, когда малахит её душат,
но если меня невзначай эти ночи разрушат,
то кто, моя радость, сумеет тебя говорить?

Так вот что я знаю: когда меня тянет на дно
Земли, её тягот, то мной завоёвано право
тебя говорить, ну а меньшего и не дано,
поскольку Земля не итог, но скорей переправа.

Над огненным замком, в котором томится зерно,
над запахом хлеба и сырости — точная бездна.
Нещадная точность! Но большего и не дано,
чем это увидеть без страха, и то неизвестно.

* * *

Расширяясь теченьем реки, точно криком каким,
точно криком утратив себя до реки, испещрённой стволами,
я письмом становлюсь, растворяясь своей вопреки
оболочке, ещё говорящей стихами.

Уходя шебуршаньем в пески, точно рыба, виски
зарывая в песчаное дно, замирающим слухом...
Как лишиться мне смысла и стать только телом реки,
только телом, просвеченным — в силу безмыслия — духом.

Только телом, где кровь прорывает ходы, точно крот,
пронося мою память, её разветвляя на жилы...
Я к тебе обращён, и теперь уже время не в счёт:
обращённый к тебе, исчезаю в сознании силы.

Опыт горя и опыт любви непомерно дают
превращение в сердце, лишённое координаты,
оно — всё, оно — всюду, с ним время в сравнении — зуд,
боротание, шорох больничной палаты.

И теперь всемогущество зрения — нежность его,
пусть зрачок омывает волна совершенным накатом,
это значит, пробившись за контур, слилось существо
с мнимо внешним и мнимо разъятым.

* * *

...и потом одаривает втрое.

В. Черешня

Бывали дни безмыслия, июль
на цыпочках заглядывал с балкона,
и проникал, чуть оживляя, тюль,
и к изголовью свет струил наклонно.
Бывали дни — не верил, что умру,
когда нас ночь на даче заставала,
и сад сиял, и больше никому,
нигде и никогда не предстояла
не только ты, но эта полнота,
ути́шившая время до приметы.
Я и теперь не верю, хоть она
изнемогла, распавшись на предметы.
Я и теперь не верю, но слабей.
Скажи: волна уходит, оставляя
вспоминанья в линзах пузырей,
один пузырь с другим сопоставляя...

Но человек, склонённый над столом,
не слышит, как стучит металлолом
и мёртвые клешни передвигает,
он времени волну одолевает,
и всё его живое существо
втройне одарено одним мгновением:
июльским днём, бессмертным помышленьем
и точным воплощением его.

* * *

Где прошлое, в особенности то,
которого не помню? Не уверен,
что я там жил, и надевал пальто,
подшитое убитым насмерть зверем,
и выходил в пространство... Там — никто.

Но где уже случалась эта явь,
которой остановлен я сегодня:
пальто, и приоткрытый в бездну шкаф,
и нечто, что томится в преисподней,
себя своею памятью обстав?

И промельком — окно, белёсый дым
над городом, где я всегда повинен
в твоих слезах... О чём мы говорим?
Зачем наш спор так сумрачен и длинен?
Чего ещё друг другу не простим?

Какая тяжесть в том, что не укрыть
забвением себя, и тяжесть вдвое —
не помнить, *что* ты помнишь, не любить
тех призраков, притянутых строкою,
которых ни изгнать, ни воплотить.

* * *

Вечер. Капель синь.
Уличный фонарь —
мокрый апельсин.
Зарево и хмарь.

Ложное торчит
тело. Ты моё?
Как я нарочит.
Лодочка-чутьё.

Влажное весло
вспыхивает там.
Мост. Не Ватерлоо.
Тело по пятам.

Кто во мне идёт?
На исходе дня
тело завернёт
за угол меня.

Островок сухой
от его пяты
стянется водой.
Что здесь было? Ты?

* * *

Я жил не в эпоху войны,
не в пору гонений неправых,
не в горькое время вины,
на личных настоящей травах.

От пыли полуденной сер,
в припадках то зла, то роптанья,
я жил, как замотанный зверь,
заботами о пропитанье.

И дни мои сбились в одно
пугливое серое стадо,
я с мёртвою болью в окно
следил за живучестью сада.

И слово искало порог
ступить и исторгнуться вещью,
но горло могучие клещи
сжимали, и зверь становился жесток.

Уж лучше б я был недвижим
и слеп, чем, запёкшейся речью
сращённый с тоской человеческой,
задуман настолько живым.

* * *

Без отечества по существу,
на одной из нелюбящих родин
оказавшись в значенье «живу»,
я дышу — и тем самым свободен.

Я свободен, я делаю шаг,
проявление собственной воли,
зарождаюсь во мраке — во мрак
переходит, но высветяюсь, что ли.

Так вот в комнате фары спугнут
застоявшуюся перспективу —
удлинённые тени взбегут
по стене и сбегут торопливо.

И на стыке косых плоскостей
своевольным капризом движенья
ты пронизан до самых костей,
лишний раз изменив положение.

* * *

Если заперты рыбы, прохожий,
подо льдом чернокровной зимы,
не сошлёмся на промысел Божий —
мы виновны, что это не мы.

Не забудем холодные трубы
(после кубиков на ковре)
первых зим и цигейковой шубы
леденеющий ворс на дворе,

невозможную эту картину
чистоты, изумленья, тоски,
и ботинки, и вонь гуталина,
вечнорвущиеся шнуры.

Всё могло повернуться иначе,
если б ты не на шутку продрог,
как упорный, косой и собачий
этот бег мостовой поперёк,

и теперь, если ты не безумец,
у перил, на железном мосту,
ты останься без дома, без улиц,
без всего, я имею в виду, —

будет страшно и празднично как бы,
как на кухне в торжественный час,
где дышали зеркальные карпы,
шевелия металлический таз,

и, сочувствуя мёрзнущей твари,
ты над этой страной воспари
полосой розовеющей гари,
кровотóчащей раной зари.

* * *

Троллейбус, что ли, крив,
раздрызган и знобящ,
что едешь, полужив,
завёртываясь в плащ,

дрожишь, облокотясь
на отсвет свой в окне,
без тела-то сейчас
ему теплей, чем мне.

Да, я бы мог не жить,
не видеть вообще,
и слов не говорить,
и не дрожать в плаще,

но если это Бог
мне зябкий подал знак,
то как Он одинок,
Собой расщедрясь так.

* * *

Чем пахнет остывающий уют,
и комнаты молочное смерканье,
и женственная плавность этих рук,
как не ребёнком спящим, как не тканью,
где затаился шёлковый испуг.

Средь бела дня есть пауза, она
от тяжести любви почти свободна,
в ней женщина не мать и не жена
и сбывшемуся так же чужеродна,
как будто на него осуждена.

Не я из её паузы изъят,
я только лишь угадываю сумрак
да зеркала темнеющий квадрат,
где в глубине графин с набором рюмок
мерцающее что-то говорят.

Тем лучше, что мы не были близки,
что порознь испытываем эти
приливы изумительной тоски,
которые испытывают дети,
проснувшись, когда в комнате ни зги.

* * *

Ты — лишь инстинкт переступанья,
инстинкт ступни,
услышавшей пересыпанье
песка и шорох
листвы в осенних коридорах,
где гаснут дни,

ты — только ритм преодоления
всех мер длины,
пульсация без направленья,
наклон походки,
зрачки, посаженные в лодки,
что так черны,

освобождение от шарфа,
от шляпы, блеск
волос, упавших, точно арфа,
меж пальцев, если
ты перед зеркалом и в кресле,
и слышен плеск

дождя, начавшегося с ходу,
чтоб жизнь в тепле
вдруг оттенила непогоду,
и вечер зябкий,
и женщину в намокшей шляпке —
там, в полумгле, —

ещё сильней, ты — согреваньё
еды, питья,
со стороны ты — небываньё
на этом свете,
так отрешённо смотрят дети
из забытья.

* * *

Вот
и Нила разлив,
крокодильского Нила,
крокодильского Нила разлив.
На окраине Фив
ночь слезы, говоришь? Как ты плачешь, Исида, красиво,
очи полужакрыв!

Ты
прекрасна, ты миф,
одаряющий щедро
благодарные полосы нив.
Но поблизости Фив
мне к отплытью готовиться в барке ливанского кедра,
слышишь арфы призыв?

Не
дожив до войны
(слава богу Амону!),
пару лет не дожив до войны,

я загробной страны
дуновению внял и поддался холодному гону
той змеиной волны,

той
волны, исподвóль
абиссинскую кровью
гор увитой... Но так не неволь,
распусти мою боль,
мой клубок жизнелюбия, крови, прокорма, здоровья
и не сыпь эту соль!

И
бескрайний песок,
и просторы не эти ль
я любил, но не мог, но не мог
тебе верить, мой бог..
Моё сердце, пишу, не восстань на меня как свидетель
по ту сторону строк.

* * *

Скучно жить стало, в этой связи
мирры, что ли, мне привези,
перьев страусовых, милый муж,
надоело в грязи —
то дожди проливные, то сушь.

Хоть и нету тебе житья
от причуд моих и нытья,
с Пунта дальнего, милый муж,
скоро ль с глупостями ладья
завернёт в нашу глушь?

Что мечтать о полях Иалу,
милый муж, коли служишь злу,
служба — умным, нектар — для дур,
ты пахучую эту смолу
привези да пантеровых шкур.

Пусть не вспыхнет вода огнём
под твоим, милый муж, веслом,
пусть, с твоим дыханием слит,
Шу ни ночью дыханье, ни днём
от ноздрей твоих не отвратит.

А вернёшься — податься из
этих мест хорошо бы вниз
по течению, там-то уж
ты простишь мой каприз
и тоску мою, муж.

* * *

Всё совестней цепляние за жизнь,
а речь срывается в словесный шум, кишасший
самим собой, ты вылазке кошачьей
четверолапых строф бросаешь «брысь!».
Речь раньше разума, невнятность не каприз,
но чуянье и призрак настоящий.

И, в дебри зарываясь, как зверьё,
почуявшее смерть, она клокочет
тем человечнее, чем больше забытьё,
чем более сама себя не хочет...
То жизнь моя, цепляние моё,
обвал и пропаданье среди ночи.

* * *

Валерию Черешне

Над дебаркадером ползёт чёрно-серое небо,
пожиратель стоит пирожков,
и дымятся лотков маслянистые недра,
и в крестовом походе летящего снега
я прочитываю: Петергоф.

Всё. Пора. Всё. Пора. Затолкать себя в тамбур.
Набирая и скорость и хруст,
пусть меха меж вагонами хрипло болят катаром,
а на станциях двери, расфыркавшись паром,
останавливают вдали чернокуст.

Ради слова, растущего ветвью, энергией взрыва —
промахнувшись, бесспорно попасть, —
ради внутрислогового в суставах его перебива,
перелома, сращённого верно и криво,
я и трачу построчную страсть.

Разве речь одержимого не пробирает до дрожи,
и её осязаемый пыл
через голову смысла бросается на бездорожье
ослепительных чуждостей, но — и не тронутых ложью,
и исполненных сил.

Разве из черноты набегают огни Петергофа,
или это скорей
называние жизни, и тяжеловесные строфы,
и ворчанье с ворочаньем в шубе, сцепления грохот,
шаг вовне из разверстых дверей.

* * *

Я тоже проходил сквозь этот страх —
раскрыв глаза,
раскрыв глаза впотьмах, —

всех внутренностей, выгоравших за
единый миг,

и становился как пустой тростник,
пустой насквозь,
пустее всех пустых,
от пальцев ног и до корней волос,
я падал в ад,

точней во тьму иль в вашу Тиамат,
не находя,
где финиковый сад,
где друг умерший, где моё дитя,
где солнца жар,

где ты, спускающийся в Сеннаар,
где та река
и где над нею пар,
где выдохнутый вон из тростника
летучий дар.

Я этим жил на протяжении лет,
тех лет моих,
которых больше нет
ни среди мёртвых, ни среди живых,
я извлекал

звук из секунд, попав под их обвал,
благодаря
тому, что умирал

прижизненно, а зря или не зря —
поди измерь...

Не так твоими мускулами зверь
зажатый пел,
как я, скажи теперь?
Не песней ли и ты перетерпел
ночной кошмар,

ты, с гор спускающийся в Сеннаар?
Смотри — река,
смотри — над нею пар,
как выдохнутый вон из тростника
летучий дар!

* * *

Я говорю с тобой, милый, из угольной, угольной
ямы, своей чернотой смертельно напуганной,
вырытой, может быть, в память об Осип Эмильиче,
помнишь, твердившем в Воронеже: выслушай, вылечи.
Я говорю с тобой, больше и не с кем, и не о чем,
только с тобою, ещё нерождённо-нежнеющим
во временном послезавтрашнем срезе, ты выуди
смысл оттуда, где нет его, ты его вынуди
быть в этой угольной яме, безумной от копоты,
выкопай слово о счастье, о смысле, об опыте
письменной речи — возьми её в виде образчика
речи, сыгравшей прижизненно в логово ящика,

в страшной истории так откопают умершего,
Господи, он ещё дышит, утешься, утешь его.

* * *

Слушай! Когда тишина над рекой бессловесна,
там, на кольце сорок пятого с семьдесят первым,
там, где деревья стоят над рекою отвесно
в чём-то сыром — то коричневом, то светло-сером, —
дни моей жизни таким убывают манером,
что пресловутому сердцу становится тесно.

Слушай! В ветвях облетевших не больше смиренья,
чем в оживлённых листвою, но в осенних пробелах
ищет смиренных сестёр сиротливое зреньё
прямолинейнее... И в монотонных пределах
низкого неба, среди облаков крупнотельных,
осени блёклое солнце — ему озаренье.

Что же, не зря облюбован был мной этот угол,
где по ночам, в черноту непроглядную в оба
глядя, твердил: примиришь! если кто и напутал
в жизни — ты сам, примиришь, привыкай к форме гроба
в этой камерке, где затхлости запах особый,
где ты безверие зябко в иронию кутал.

Что же, отъявленный бред полагать, что за ширмой
был кукловод — разве он уместился бы в образ? —
нет, никогда, никогда ты не слышал надмирный
голос Того, для Кого ты придумывал голос,

хоть и не верил в Него, и осенняя морось
всё застилала, как жгучей тоскою обширной.

Слушай! Когда, вокруг полуденной точки свернувшись,
день, не успев посветлеть, угасал, там, где вечер
осени поздней под дверь мою сбрасывал тушку
голубя — вот благовещенье! — там, где я встречи
этой пугался и вздрагивал, там, где диспетчер
метрах в двухстах, на кольце, превращалась в старушку —

слушай! — там дни моей жизни текли неизбывно,
впрочем, щадя и ночные часы замедляя,
там, где последний автобус гасил свои бивни,
там, где, инерцию наглого слова теряя,
я засыпал и вставал, уже не понимая
прошлого дня с его пульсом тяжёлого ливня.

* * *

Это город слепых,
розоватых, трапецеобразных
стен, от ветров ненастных
оградивших живых,
это город глухих
переулков несчастных
и безмолвных, прекрасных
снегопадов густых.

Это город теней
во дворах нездоровых,
это город готовых
к вымиранью людей.

Это город детьми
облюбованных горок,
древний образ мне дорог, —
если хочешь, возьми, —

это город зимы,
мандариновых корок,
холодов, полутьмы,
вереницы огней
с жёлтым прицветом йода,
и железных коней,
и того пешехода...

Ну, живи, цепеней.

* * *

Вы просыпались рано утром,
зимой, когда по цвету дыма
из заводской трубы определяли
температуру воздуха... Тогда
вы знаете, как ищет мысль лазейки —
как мышшь, откопанная на морозе,

живая, обезумевшая, в страхе
бросаясь напролом...
Месяц как твержу:
«Я ещё здесь, здесь, здесь,
Господи, здесь...» —
не разжимая губ твержу и продолженья
не вижу столь же истинного...
Вы просыпались рано утром,
зимой, проездом
вы замечали в окнах заводских
рабочего, вы думали: как рано
он приступает к выполнению плана —
такой живой! Вам не было смешно...
Вы помните, вас в детский сад будила
передовая сталинская мама,
включая беспощадно свет
и радио одновременно,
а вы за миг до этого
всей мышечною, мышью жизнью
в сон зарывались под одеяло,
вы помните, как в детство проникает —
в столь раннее, что — навсегда, — казённый
линолеума запах, туалета
и кухонный непостижимый дух...
Вы просыпались рано утром,
зимой...

* * *

Когда бы знал, что ждёт,
не захотел бы жить,
но ты всегда лишь тот,
кто и не мог не быть.

Но если здесь дышать,
таких измен, как та,
ты бы не мог не знать,
ты бы не жил тогда.

И говорю: прими.
Ты не обманут, но
лишь окружён людьми,
и потому — темно.

* * *

И от любви остаётся горстка
пепла, не больше напёрстка.
Нет, не страшно стало душе
быть нелюбимой уже.

Вот тебе рукавицы, ватник,
лампочка в сорок свечей,
кружка воды и мышиный привратник.
Чей ты теперь? Ничей.

Будешь двуруким теплом двуногим
жить, согревая тьму,
счастьем обязан был ты не многим,
будешь зато — никому,

это и есть твоё счастье... Всё же
это ещё и твой страх,
что и тогда тебе Бога дороже
будут пепел, напёрсток, прах.

* * *

Человеку нужна только комната,
комната и кровать,
чтобы не метаться из города
в город, не ночевать
на вокзале, не дрожать от холода.

Человеку нужна только комната,
чтобы молиться всею ночью
и вседенно о себе и о ком-то
ещё любимом, чтобы чувства мощно
высились подобно иконам.

Человеку нужна комната
и жизнь, прожитая неверно,
с ненавистью, с удушающим опытом
измены, трусости, скверны
пошлого на ухо шёпота,

чтобы сердце рвалось, потом окрепло
и превратилось в скалу, чья память
не возрождает из пепла
любимых, ни подниматься, ни падать
не умея, но лишь стоять слепо.

* * *

Феноменальность жизни моей, шага,
вдоха грудная тяга,
коченеющий утра пустой объём
и шаги мои в нём.

В жизнь упавший, в чехле
кожи, с принятой на земле
логикой мышц, суставов, костей
вертикальных людей,

я иду к остановке, и там стою
безмолвно, и не перестаю
шевелить от холода пальцами ног,
весь — удар прицельного бытия и его срок.

* * *

Ребёнок спит, подложив под щёку
руку, другой обняв
куклу, ему не снится совесть,
он глубоко прав.

Так глубоко, как на пустыре
снег, — ни фабрик вблизи,
ни чёрных фигур во дворе
по колено в грязи.

Снег на пустыре один,
как ребёнок, спит,
он ослепительно состоит
из самого себя.

* * *

О радости — как засыпает мост,
как засыпают полувеки
его пролётов,
как снег летит в деревья, в их навеки
открытый мозг,

о русле, где лиловое сверло,
своих тяжёлых оборотов
вращая бремя,
колеблет цепи ртутных перемётов,
и занесло

мой спичечный — по крышу — коробок,
дарованный на время
сезонной стужи...
Два-три пейзажа, чувства, две-три темы
и детский бог —

вот всё, что есть, все крохи изнутри.
О радости, о разности — снаружи
покой могучий,
душа или плоть — они так много хуже
любой поры.

Лишь точной речи, поднятой со дна,
влажно-сыпучей,
вся разность эта —
ослепшей речи, поднятой на случай, —
всегда равна.

О радости — как засыпает всё,
как милицейская комета
летит, мигая,
наматывая зелень снега, света
на колесо.

* * *

Домой, домой, домой,
с Крестовского съезжая
моста, я вздрогнул: боже мой,
какая жизнь простая,

как всё проявлено: торчат
деревья, трубы,
и мокрый снег летит, и спят
в снегу гребные клубы,

и всё молчит, срезаясь за
стекло косым квадратом,
то набегая, то сквозя,
то волоочась закатом,

а там, среди серых плоскостей,
смиряются, смиряют,
хоронят, любят, ждут гостей,
живут и умирают,

и надо двери отворить,
и надо чаю заварить.

ТРИ ВРЕМЕНИ ГОДА

1

Чередование года времён
я застаю у себя в котельной,
с мышью, притихшей в кладовке, вдвоём
слушаем осени шум запредельный
или вдруг слушать перестаём.

Третий уж год параллельно реке
я засыпаю, по левую руку —
парк, и ничто уже не вдалеке.
Дверь отворяю и радуюсь другу,
снегу, тающему на воротнике.

2

За ночь снега под дверь насыпет,
я лопатой его разгребу,
оглянусь — параллелепипед
дома жёлтого на берегу,
дверь открыта и чай не выпит.

А на стенах осела копоть,
невесомый рисунок дней,
тех, что некий безумец копит
и записывает... Ему видней...
Но меня ничто не торопит.

3

В угол, в уголь смотрел чёрно-синий
я вчера и таких длиннот
вдруг услышал — не звук — пустыню,
что замедлило время ход
и пропало в полночной тине.

Но откуда тогда под подошвой
утра хрусткие ямы, бугры,
ночь, утёкшая в темень коры,
мир с голубизною подмёрзшей
накануне цветенья поры?

* * *

Ещё хожу и говорю,
на голос отвечает голос,
из электрички тонкую зарю —
вот эту — я увижу ли ещё раз?

Какую глупость совершить могу —
так втrogаться в стеклянно-пыльный
пейзаж, что говорить: я избегу
тоски грядущей, непосильной,
и не завидую не любящему жизнь.

Но я уже не верю
словам, которые произнеслись.

Мы жаркие, вседышащие звери
и ничего не избежим.
Тем ненасытней потрясенье,
когда в вагоне в тридцать тел дрожим
и дышим сумерками воскресенья.

* * *

В точке мира стоять,
тучным телом её заполнять,

под молочную кожей руки
слабый воздух нежнеет,
и дождём, набираясь сознания, вдруг тяжелеет,
рассыпается на черепки,

и уходит буксир под темнеющий свод,
выворачивая рукав
мирового пространства, его, исчезая, взорвав.
Разве был мне когда-нибудь год?

Черепки, черепица дождя
затихает, и воздух, свежая,
снова ластится, как дитя,
и в ключицы впряжённая шея
человеческий череп вращает для бытия.

* * *

Я о тебе молюсь,
я за тебя боюсь.
Пока живём — живём,
пока вдвоём — вдвоём,
но как вместить обещанную грусть,
какое платье из неё сошьём?

Я не хочу смотреть
на государство-смерть,
и на его зверей,
и на его червей,
но как вместить обещанную твердь,
читатель Иоанновых страстей?

Но как тебя спасти,
когда нас нет почти,
и дар случайный жить
нас понуждают скрыть.
Я ничего не вижу впереди.
Как эту тьму кромешную вместить?

Дай только раз вдохну,
дай только жизнь одну, —
пока живём — живём,
пока вдвоём — вдвоём, —
дай только жизнь ещё раз помяну.
Жить будем ли мы вновь, когда умрём?

* * *

Шум, шум, шум
дождя, шум, шум,
спит земля-тугодум,
я в подушку стихи прочту
не про эту жизнь, а про ту,
где и сердце и ум.

Спит, спит, спит
земля, спит, спит,
кто убил, тот и сыт,
я тобою лишь дорожу
да ещё двумя, кем дышу,
кто ещё не убит.

Друг, друг, друг,
тебе, друг, друг,
моё слово не вдруг,
ты приник к нему-своему,
как и я приник к твоему,
есть лишь родственный звук.

Лишь, лишь, лишь
дожда, лишь, лишь,
под который ты спишь,
наполняет комнату шум,
шевелиющихся долгих дум
потрясённая тишь.

* * *

Есть чувства странные, живущие не в сердце,
но в животе, и даже не как чувства
живущие — скорей как мышцы. Свет
в подвале зажигая, полсекунды
ты смотришь никуда, чтобы они
успели незамеченными смыться.

И можно жизнь прожить, не отогнав
и не постигнув маленького чувства,
которое заполнило тебя.
Нелепость. Но когда родную дочь
старик подозревает не своею,
то не измена мучает его,
а то, что он любовь извёл на нечто
столь чуждое, что страшно говорить.

* * *

Ехал ученику
дать урок на краю
города по языку
и в проезжую смотрел колею,

загорались огни
новостроек, вдали
лезли в душу
рельсы, шпалы, клочки земли,

вот отец его, адвокат,
предлагает борща:
«Пицца сталинская у нас, простая,
мы с сынком
остались вдвоём», —
е и ё после ща,

где её (после ща)
обитает здесь дух?
Я смотрю на сынка, на хрыча,
проверяю на слух:

человеческий род,
этот полный абсурд,
пощадил бы и тот,
кто не полностью мудр.

«Я вас вознагражу». —
«Извините, спешу».
Руку гладко-сухую суёт,
сын снуёт, сын на заднем плане снуёт.

* * *

Должен снег лететь
и кондитерская на углу гореть,
мать ребёнка должна тянуть
за руку, должен ветер дуть,
и калоши глянцевого блеснуть,

продавщицы розовые в чепцах
кружевных должны поднимать
хруст слоёных изделий в щипцах,
и ребёнок, влюблённый в мать,
должен гибнуть в слезах,

и старик, что бредёт домой,
должен вспомнить, как — боже мой! —
как сюда он любил
заходить, как он кофе пил,
чёрный кофе двойной,

«Больше, — шепчет, — лишь смерть одна,
потому что должна
этот шорох и запах смыть...» —
и глухая должна стена
ть его укрупнить,

и тогда снегопад густой
всё укроет собой,
и точильного камня жрец
сотворит во мгле под конец
дикий танец с искрой.

* * *

Если это последний
день, то я бы сошёл
в том саду,
где стоит дискобол
и холодный и бледный
свет горит, как в аду.

Дочь моя, или сын мой,
или друг мой идёт
впереди,
чёрен твой небосвод,
город снежный и дымный,
нет другого пути.

Сохрани тебя Боже...
Путь ли это домой
вдоль реки...
Ты и вправду живой?
Дай дотронуться всё же
до пальто, до руки.

* * *

...из тех, кто ждёт звонка и до звонка
за миг уходит из дому, из тех,
кому не нужно ничего, пока
есть не интересующее всех,
из тех, перебирающих листы
с печатными столбцами, находя
в них водяные знаки красоты
и — ничего немного погода,
из тех, себя увидевших в родне,
как в зеркалах возможного, от них
бежавший и привязанный вдвойне
к отвергнутому, из ещё живых...

* * *

Днём в комнате зимы начальной
голубоватый свет и потолок белесый.
Я вижу тебя девочкой печальной,
вне сплётенного к жизни интереса.

Без твоего участия день стихает,
придёт с работы мать, суп разогреет
грибной (за дверью связка усыхает),
потом над кройкой и шитьём стареет.

Ещё увидишь: лампы свет прикроет
газетой, и такая грусть настанет,
как будто ты раздумываешь — стоит
или не стоит жить, — не слишком тянет.

Я там тебя люблю, и бесконечней
не знаю ничего, не знаю чище,
прекраснее, печальней, человечней
той нерешительности и свободы нищей.

НА ЛАДОНИ

1

Как я свободен —
как отцепившееся небо,
и никому не должен, и никуда не годен.
Я только вдоху повинуюсь слепо.

И это всё, всё, всё,
живущему не надо оправдания —
столь выпукло его лицо
и явственно его дыханье.

2

Это долгий путь
вдоль по набережной куда-нибудь.
Вдруг найдёшь на краю
городского ума — в лопухах
и репейниках жизнь свою.
Жизнь свою, ах.
Надышавшись мокрыми сливами
синей реки,
вдруг найдёшь вопреки
смыслу — в пальто и кепке
жизнь свою в устройствах куда-нибудь кем-то
на работу. Осенью, часа в четыре,
найдёшь себя у себя на ладони.
Это долгий путь в гаснущем мире,
в солнечных сумерках, на фоне
кирпичной стены.

Я ли при жизни,
воздух ли здесь у лица?
Свет обступает.
Кто тебя видит и кем ты так выбран стоять
в солнечной осени возле киоска?

Нет никого, без тебя
кто бы не мог обойтись, нет никого.
Боль — это то, что стихает.
Так ли правдиво-пустынно твоё существо?

**«Я шум оглушительный слышу
Земли...»**

ВСТУПЛЕНИЕ

Потому что я смертен. И в здоровом уме.
И колеблются души во тьме, и число их несметно.
Потому что мой разум прекращается разом.
Что насытит его — тем, что скажет, что я не бездушен,
если сам он пребудет разрушен, —
эти капли дождя, светоносные соты?
это солнце, с востока на запад летя
и сгорая бессонно?
Что мне скажет, что дождь — это дождь,
если мозг разбежится как дрожь?

Так беспамятствует, расщеплено, слово, бывшее Словом,
называя небесным уловом то, о чём полупомнит оно.

Для младенческих уст этот куст. Для младенческих глаз.
До того как пришёл Иисус. До того как Он спас.
Есть Земля до названья Земли, вне названья,
где меня на меня извели, и меня на зиянье
изведут. Есть младенческий труд называнья впервые.

Кто их создал, куда их ведут, кто такие?

Усомнившись в себе, поднося свои руки к глазам,
я смотрю на того, кто я сам:
пальцы имеют длину, в основании пальцев — по валуну,
ногти, на каждом — страна восходящего солнца,
в венах блуждает голубизна.

Как мне видеть меня после смерти меня,
даже если душа вознесётся?

Этой ночью — не позже.

Беспризорные мраки, в окно натолпившись, крутя занавеску,
пугая шуршаньем, бумагу задевая, овеют дыханьем дитя.
Дитя шевельнёт губами.

Красный мяч лакированный — вот он круглит на полу.

А супруги, разлипшись, лежат не в пыли, и пиджак обнимает
в углу спинку стула, и мáсляет вилка на столе, и слетают
к столу беспризорные звуки и мраки, и растут деревянные
драки веток в комнате, словно в саду.

А бутылка вина — столкновенье светящихся влаг
и вертящихся сфер, и подруга пьяна, и слегка этот ветер
ей благ — для объятий твоих например. Покосится страна
и запаянный в ней интерьер.

Вот вам умное счастье безумных, опьянение юных и вдох
для достания дна.

Одинокая женщина спит-полуспит. Если дом разобрать,
то подушка висит чуть пониже трубы заводской, чуть повыше
канавы. Станет холодно пуху в подушке. Спит гражданка
уснувшей державы, коченея в клубочке, как сушка.
Ты пейзаж этот лучше закрой.

Ночь дерева, каторжника своих корней, дарит черномастных
коней, разбегающихся по тротуару.

Ночь реки, шарящей в темноте батарей, загоняет под мост
отару золоторунных огней.

Ночь киоска, в котором желтеет душа киоскёра.

Ночь головного убора на голове манекена.

Ночь всего, что мгновенно.

Проживём эту ночь, как живут те, кто нищи. Разве это
не точный приют — пепелище? *Что* трагедия, если б не шут,
тарабанивший в днище?

Вот почему ты рвёшься за предмет, пусть он одушевлён, —
чтоб нищенствовать.

Там, где пройден он, к нему уже привязанности нет.

Две смерти пережив — его и в нём свою, — не возвращай
земного лика того, кто побеждён, как Эвридика. Для
оборотней мёртв его объём.

Лишь ты владеешь им, когда насквозь его прошёл, твои края
не те, где нищенствуют вместе или врозь, — но нищенствуют
в *полной* нищете.

Здесь растают, нервы на разрыв испытывают, ненависть
вменив в обязанность себе для простоты, здесь женщина
кричит из пустоты лет впереди.

Печальнейший мотив.

А более печального не жди.

Старушечьи руки, и рюмочка из хрусталя, и несколько
капель пустыряника, и опасенье, что жизнь оборвётся вот-вот,
но ещё, веселя, по капле даётся, и вкусно сосётся печенье.
И крылышки моли из шкапа летят, нафталя.

В большую глубину уходит кит, чернильной каплей в толщу океана опущена душа левиафана, полночная душа его не спит. Он с общим содержаньем столь же слит, сколь форма его в мире одинока, и, огибая континент с востока, — уходит, как чутьё ему велит.

И высится в море терпенье скалы, осаждённой таким неслыханным ветром морским, что слышится ангелов пенье.

И разум упорствует, сопротиворствуя тьме. Но тотчас, из хаоса выхвачен самосознаньем, он хочет бежать бытия и вернуться к зиянью, подобному небу, когда оно ближе к зиме.

Бедняжливый узник в своей одиночной тюрьме страстей, он расхищен на страхи, любовь, покаянье, и нет ему выбора — только принять умиранье всего, что он слышит, принять его в ясном уме.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

...коротенький обрывок рода.

А. Блок. Возмездие

Мальчик встанет, телом тонким потянувшись, мальчик встанет, умалением свободы — поперёк — сегодня станет, а сквозящую наружу душу плачем остановят, а возьмут обидой горло те, кто мальчика изловят, подойдёт к тетрадке мальчик и запрет в портфель тетрадку, аккуратно съест яичко, мальчик съест яичко всмятку,

голубой белок, который приварился к скорлупе, соскребёт
фамильной ложкой, затеряется в толпе,
он в автобус сядет львовский на большое колесо и покатится
на Невский в одинокое кино...

Вечерняя ворована сирень, все запахи затылочны и гулки,
за папиросною бумагой брезжит день, как бы рисунок
в «Малахитовой шкатулке»...

Так мальчик возвращается, дрожа, с букетом маме,
постаревшей на год, как жалко маму, как колотится душа,
как гости с хохотом на птицу подналягут...

Когда бы нюх звериного чутья мне щупал путь, блуждая по
Европе, то запах отыскался б не в укропе, а в комнате для
стрижки и бритья:

картавый тип с повадками врача, орудуя машинкой по
затылку, то выпускает в зеркало ухмылку, как скользкую
рыбёшку, то, с плеча прицелившись и отведя бутылку,
сжимает грушу, дурно хохоча, —

и вот затылок холоден и странен, и мальчик освежён
и оболванен, —

иль в мастерской, где чинят обувь и на подмётку ставят крест,
башмак тем самым обособив, его отправив под арест, —
там и накинется средь острий снующих игл, блестящих шил
дух кресел кожаных, подстил, подмётки, разрывая ноздри,
а люд, чей говор-непотребник так аппетитен и бог весть
о чём, — напомнит про учебник, где о ремесленниках есть...

* * *

Чёрно-красная ночь Украины,
деревья в руины
обратились, пока добрели
в эти дебри равнины.
Рембрандт выгреб угли,
и на миг загорелись морщины
предыстории — старцев, их стад —
с аравийской пустыни
переписанной в сад.

Паровозный ли окрик,
холодный ли погреб —
по ступеням — на ощупь и вниз —
капель мокрых
просыпанный рис,
там сметана, там масло, там шорох...
Утра влажно-зелёный стручок,
или полдень дрожит на рессорах,
или вечера холодок.

Там подсолнух — затылок шершавый,
зелёный и ржавый,
сонно-белый, когда поперёк
он разломлен коряво,
ночь, звезды огонёк
пересёк небеса за Полтавой,
да урчащий перрон,
где украинский говор картавой
буквой «р» засорён.

* * *

На противоположном берегу
реки, через которую грохочет —
крест-накрест — мост железнодорожный,
пасётся стадо яркое с утра, —
так чертит грифель, смоченный слюной,
и, вытворяя брызги на бегу,
приплясывая красавица хохочет,
за ней, смеясь, — на шее крестик ложный —
бежит хозяин пляжа, их игра
меня томит, за шахматной доской
два мальчика исследуют носы,
два гения в панамках от удара,
их бабушки в белье бледно-зелёном
с кулками из сегодняшних газет,
с кулками окровавленными вишен.
В кружении полуденной осы
приходит сон, в удушливости пара,
в депо, на паровозе раскалённом
сжимает машинист в руках обед.
Мне виден каждый жест и голос слышен,
я помню, кто что делает. Тогда,
уже тогда я был ничем не занят:
хоть слабых мира понимал легко я,
а сильные мной правили вполне,
ни тем ни этим не принадлежал.
Так только первобытная тверда
душа бывает — мир ещё не ранит,
но проникает тёмные покои,

и лилия горит на самом дне
воспоминанья...

* * *

Когда, проснувшись, к тамбуру спеша,
проснувшись от качнувшего толчка,
на ранней остановке, через гарь
растопленного чайного бачка,
когда, чуть недонежившись, душа
ещё хрупка, как юный государь,
когда мелькают вёдра и кульки
торговок вишен, яблок или груш,
и проводник, свой китель доодев,
обходчику кричит благою чушь,
и солнце зажигает край реки,
на улице посёлка, меж дерев,
ты видишь: беспокойству далека,
вся пахнущая сонным молоком,
высокая, в накинутом до пят,
медлительно, и тонко над плечом
лежит кувшин обнявшая рука,
когда картина, тронувшись назад,
и ты идёшь растерянно в вагон,
от чуда всё навеки потеряв,
где спят тела, покачиваясь в лад,
и скорость набирающий состав,
крутые яйца, курица, батон,

и любопытства равнодушный взгляд
соседа сверху...

* * *

Перрон, как в гречневой крупе,
в коричневых и чёрных зернах,
жизнь детских глаз внутри купе,
больших, растерянных, минорных,
прилив сочувствия к себе.

Кто гречку так перебирал,
водя ладонью по клеёнке,
зеленоватой, как вокзал,
живущей запахом в ребёнке.
Я в жизни лучшего не знал.

И бедность жизни и минут
при тихом троганье вагона
в полубезумии плывут
за край всего, что я бессонно
люблю, и большего не ждут.

И я не жду. Мир ни красив,
ни страшен, как ни обозначим.
Вот так и жить бы, как прилив,
одним сочувствием и плачем,
зачем — ни разу не спросив.

* * *

...так осенью проехать мимо школы
своей, так под лопаткою укол, и
так очередь дрожит в медкабинет
эмалевый, так дни перед осмотром
с желтеющей листвой, с карминным кортом,
с тоской дистиллированной тех лет,

так пахнет, проступая из тумана,
сад осени больницей Эрисмана,
так гулко осыпается трамвай,
так розовых солдат плывёт колонна,
как в ауре, в парах одеколона,
Патрокл, Агамемнон, Менелай,

так хочется запоем, жизнь приблизив,
всё перечислить, смыслом не унизив,
так города избыточен размах
вернувшемуся с дачи, так хватает
он воздух из такси, и так не знает,
зачем он возвращается в слезах...

* * *

Этой женщины трудные очертанья,
есть фигура и некая угловатость...
Как единственно зренье, сестра, — это больше, чем радость —
это радость, и горе, и бережных сил испытанье.

Осень, женщина в створе дверей у стола,
над рукой голубая и дымчатая ваза,
под рукой леденящей клеёнки четыре угла,

и, собой потрясённые, расположились тела —
их смертельная ясность, и осени рыжая фраза.

Как всё замерло — как в ожидании письма,
не поддавшись восторгу с его раздражённой изнанкой,
поздравительный запах открыток, бинокль, валерьянка
в том шкафу, в стылой комнате, полной собраний чужого ума.

До свидания. На ослепительном фоне окна
я обмолвил тебя и подумал, топчась в коридоре:
если это похоже на что-нибудь — только лишь на
драматичность семьи, её радость и горе.

* * *

медлит буксир на реке
стройка и дым вдалеке
осень на волоске
сердце болит в мотыльке

дом у реки ни огня
дверь приоткрыта в меня
там причитает родня
комнаты гул западня

* * *

Ты тяжёлую дверь отворил,
а за ней не свобода, а гнёт,
что-то в прошлом отец натворил,
что тебя искупление жжёт,

ты увидел, как, в кресле дремля,
над газетой он дышит с трудом,
как его накопила Земля,
так копил он для жительства дом,

в этом доме сопрели углы
от согрева кошачьих ковров,
и приметы тебе тяжелы,
и прекрасен, однако же, кров,

и к нему твоя страсть привилась
с тем напором пороков живых,
что и ловкая кошкина страсть
нюшит возле подмышек твоих,

ты в любви был зачат среди дней
небезгрешных уже потому,
что в тебя перелили вину
забывания сном потемней,

задремания, в кресло осев,
в те часы, как небесная синь
расправляет себя меж дерев
для бездомных совсем благостынь.

* * *

вроде кладбища
кругом серый камень
голос лающий
и бегущий за облаками

и приводят к нему
умирать кто должен
к камню этому
до которого дожил

вдруг отца ведут
страх предстал глазам
закричал я тут
как будто умер сам

и по камню песок
белым бегом рябит
ни один предмет
ни о чём не говорит

только солнце в висок
жмёт лучом своим
и бежит под ним
по камню песок

* * *

Развеселись, теперь развеселись,
не снизу вверх смотри, не сверху вниз,
перед собой смотри, и между складок
горчичных штор вдруг высветится жизнь
твоей семьи, пришедшая в упадок.

Там стар старик и женщина стара,
то царство, что возвысилось вчера,
сегодня пало, холодом озноба
охвачен дом, поэтому пора
развеселиться... Господи, ещё бы...

Танцуй на пепелище, потому
что нет ни воплощения ему
другого, ни другого завершения —
лишь танец, адресованный Тому,
Кто нас избрал танцующей мишенью.

* * *

А дальше-то вот что: под утро ключом
сверкнув, привалившись плечом
к дверям, отворишь их и юркнешь в тепло
чуть спящего дома ещё,

ещё не осмыслена сила вещей —
шарфы отдыхают от шей,
ещё не расправлены тягами рук
перчатки в карманах плащей,

и в старом трюмо, как в картинке одной,
рождественской, переводной,
нажимом ещё не проявлен пейзаж
таинственной жизни ночной,

здесь ночью сходились дыханья одних
с тенями предтечей своих
и вновь разбредались по разным углам,
к родству обязуя родных,

ты вынесен внутренним ветром кровей
на берег отчизны своей,
приливом колеблем, как снасть на песке,
снимая башмак у дверей,

ты чувствуешь, что утопился букет
сирени на кухне, на нет
он сходит в прихожей, себя бормоча
и собственным прошлым согрет,

ещё остаётся тот час до утра,
в котором есть завязь добра,
ещё среди хаоса бытность семьи
ручная — сильна как вчера,

там город бутылок из-под молока,
пустой, но не сданный пока,
и старый графин с кипячёной водой —
его наклоняла рука,

и чашка в цветочек китайских времён,
и ложка над ней под уклон,
и в матовых банках, пресыщен собой,
айвовый и сахарный сон,

а дальше — на цыпочках вкравшись в покой,
где шторы просвечены той,
пусть школьной, но полусвободной уже,
светающей, майской порой, —

одежду свою побросаешь на стул
и в миг до того, как уснул, —
вдохнёшь ледяную, льняную постель,
на ней распрямив этот гул.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

* * *

Это есть облегание темы,
обступанье словесною тьмой
внутри себя светоносного темпа
шевелиющейся жизни одной,
ты её не поймёшь, не раскроешь —
так увит в скорлупе ото всех,
как свернувшийся моря зародыш,
закипающий грецкий орех,
это жизнь, что тебе и не снилась,
потому что ушла от людей,
затаилась, ушла, заслонила,
больше нет обаяния в ней,
это рифмы на строчечных сломах
оцепляют, бесстыдно трубя,
неприступную цель, это промах
по мишени, щадящей тебя.

* * *

Волнуемое море непрестанно
меняет очертания свои,
над островом — могучие ступни
рванувшегося в небо Ханумана.

Задолго до того, как в оны дни
скрутили этот гул в стволы органа, —
всё было так: не поздно и не рано
для мозга, где и вспыхнули они,
стихии, совершаясь непрерывно...

И человек в гостиничном дыму
всей жалостью к проезжему — как странно! —
вдруг обращён, сочувствуя ему,

и человек, накинувши пальто,
идёт на пристань, мерно полагая,
что смерть — скорее тьмущее ничто,
чем что-нибудь, чем что-нибудь, родная
(он третье с первым путает лицо,
по городу приморскому плутая),

он думает, что музыка одна
меж формою конечной и стихией,
не знающей спасительного дна,
ещё находит лестницы витые,
духовного движения полна,

он думает: зачем гордишься ты
своей сосредоточенностью чудной
(хотя бы и на пристани безлюдной,
среди намокших досок и слюды),
зачем, зачем не знаешь простоты
единственной, текучей, многотрудной,

он слышит гулы шквальные о том,
как трудно перемалывать глубины,
творя и растворяя без причины
блеск плавников в холодном блеске глины,
и чует этот холод животом.

* * *

Странно, что и здесь жизнь,
что и здесь
кладбищ сухая весть
дрожит на ветру
и трепещет жечь,

странно, что и здесь дверь,
что и здесь
приоткрыта дверь
в комнатную нору,
где человек есть,

что его насквозь жаль,
что до чужих слёз
жалости ему нет
дела, что и со мной врозь
его печаль,

что на солнце крест белёс так,
что глаза слепит,
и, шелушась,
краска с него летит
в степь,

туда, где мак
дик,
где от любых влаг отвык
почвы слух,
треснувший, как крик

боли вразрез
жизни, которая здесь
привилась вкось,
уронив лишь
в виноградную гроздь

зелёный вес
запертого дождя,
странно, что и здесь жизнь,
что и здесь
теплится, как дитя,

этот со стороны
быт невыносим, чужд, —
что мне до их нужд? —
другой страны
тяжёл вид,

тяжелее вдвойне
тем, что вдруг
не найду мне
близких, что их совсем,
возвратясь, не найду,

тем, что их вижу во сне,
словно смерть
репетирую их,
расположенных вне
осязаемости моих

глаз, тяжелей
тем, что и здесь, твержу,
жизнь, и здесь,
тем, что её пишу
вскользь, с ней

не примиряясь весь.

* * *

Это степь, и сухое пространство, как луковица сухое,
с шелухой, осыпающейся на пастбище зноя,
это жирные шпалы, кишечник депо, это мельком
занавески на крайнем домишке, кривая скамейка,
и детей худоба — только рёбра и лица в разводах
перламутровой грязи, и курицы на огородах,
вроде серых, кудахчущих, бегающих подушек,
это солнечный слепень сыпучих, живучих и душных,

обезумевших метров земли, где стрекозы и мухи, и на ящериц смахивающие гнезятся старухи. Ничего нет грустнее кирпичных заводов предместий, известковых окраин из досок белёсых и жести. Как здесь люди живут? как? (особенно после обеда) пахнут щами? ложатся в песок? как даётся им эта полужизнь? почему они не умирают от прохлады и влажности мысли о море, только пот утирают? Это попросту взгляд непричастных, поскольку проезжих, глаз снаружи, а жизнь расточается внутрь, и нежных и невидимых сил этот взгляд не вбирает, и всё же — это степь, и сухого пространства горячая кожа, загорелые, масляные, вдыхаемые детьми руки слесарей, машинистов, обходчиков полые стуки по коленным чашечкам поезда, его крупные мышцы, это пыльной и низкорослой листвы шебуршащие мыши, это всё, что изжаждалось пить, как каторжанин из хрустящего на зубах Экибастуза и Джекказгана, он ручьём захлебнётся, он вылижет его русло, он три дня будет пить, чтоб не так было грустно умирать, это бредящая ливнем окрестность, чтобы впадину рта напоить и воскреснуть, воскреснуть.

* * *

Он о бесплодности чувствовал, о пустоте, тщетности полой, задетой движением жизни. Как было сердцу в такой духоте, тесноте клетки грудной не склониться к тупой укоризне,

как не упёрлось оно в костяное ребро
в злых захолустьях, на мусорных ямах, в укромых
бедных. Ты скажешь: сквозное добро
сердце спасло. Но посмотришь, как бьют насекомых

малые дети, как давят подошвою их,
и усомнишься в его изначальности милой.
Есть равнодушное, зыбкое поле живых,
для пропитанья не знающих нежных усилий.

С жизнью слепых отношений — куда уж слепей! —
пасынка с отчимом: не примиряясь, коситься, —
отчима с пасынком: то ли заискивать в ней,
то ли, свкаясь, угрюмо и медленно злиться, —

как избежал он? Отваром полынной травы
сердце лечил или к морю спускался прилежно
и тавтологию синей насквозь синевы
впитывал, как и оно, — равнодушно и нежно,

а возвращаясь, подолгу сидел, как старик,
горбясь над рукописью, чтоб угловатой
фразой скелетообразной поставить в тупик
мрачную суть, как бы взяв её невиноватой?

Я его видел, он мёртв был, скорее всего
мозг вещества его жизни, измучившись прежде
горечью мироустройства, иссохнув в надежде,
попросту больше не чувствовал ничего.

* * *

Кто меня перевёртывал на спину, я уже свёртывал,
говорю тебе, свёртывал, я уже так отдыхал отдыхающим
сердцем и кровь остужал свою, свёртывал, остужал свою,
свёртывал, свёртывал и остужал...

Я от жизни устал, посмотри, я комок своей боли,
перепрыгнувшей уровень жизни, свободы, неволи...
Кто сказал — это смерть, констатировал, в правом шкафу
обыскавшись аптечки, овевшей йодом строфу —

* * *

Куда теперь плыву, так долго шёл к разгадке предстоящего
отплыть, открой окно, там что? — Эдем? шеол? или следы
кошачьего наитья, по снегу уходящего в подвал, да скрип
шагов, открой его пошире, проветри, здесь покойник,
он устал от смерти, закупоренной в квартире, открой
окно, не бойся, подойди, я век своих тяжёлые надгробья
приподыму и гляну исподлобья, открой, мне одиноко
заперти —

* * *

Я шум оглушительный слышу Земли,
троллейбусных шин закипанье —
то дальше, то ближе, то снова вдали,
то мокрых подошв лепетанье,

то жести прогибы под тяжестью лап,
уродливых лап голубиных,
то — блюдце на полке колеблющий храп
соседа, то в тайных глубинах

квартиры, где плохо обои взялись —
меж ними и дохлой стеною —
как сердца обрыв, осыпание вниз
трухи совершенно пустое,

я слышу, как жмутся предметы к Земле,
стакан в подстаканник как вогнан,
как сумма их тел отразилась в столе
и вышла за чёрные окна,

для жадного слуха всё — Слово и мощь,
для мёртвого — вдвое и втрое,
открой, отвори, это снег, это дождь,
доснежие, что-то другое —

* * *

Я дальним эхом знал, что Слово — Бог, я чуял точку ту,
где жизнь словесна, а Слово тесным яблоком телесно,
о, ты Его узнать бы в ней не смог, —

в ней яблоко берётся целиком: всем шёлком
кожуры, надкусом кислым до семечек с их чёрным,
клинописным на лунках перепончатых письмом,
а прежде — ветвью с сорванным кивком, а прежде —

* * *

Я верил в бога Ра,
я богоравным был,
пока в ладье он плыл,
пока сиял он дивно,
пока я неотрывно
весь день за ним следил.

Я был ребёнком, мир
мой бог мне даровал,
я жил, я ликовал,
и в той песчаной почве
мой мёртвый предок порчи,
спелёнутый, не знал.

И вдруг мой бог погас,
и стала жизнь темна,
и, не нащупав дна,
я побежал, безумясь,
в пески, где, как Анубис,
лежала ночь одна.

Там верховодил лев,
там царствовал орёл,
там друга я нашёл
земной надёжней тверди,
он спас меня от смерти
и сам её обрел.

И вот с лица земли
могучий друг исчез,
я землю рыл, я лез
за ним в земные недра,
но не нашёл, как ветра,
его ни там ни здесь.

И я пошёл бродить,
и я бродяжил век,
и увидел ночлег —
то некто шёл из Ура,
был препоясан шкурой
овечьей человек.

И я пристал к нему,
и пас его стада,
и в поздний час, когда
стада и травы никнут,
я трижды был окликнут:
«Ты слышишь голос?» — «Да».

И духом я окреп,
и жертвенник возжёт,

и агнца я рассёк,
звезде падучей вторя,
и предо мною море
мне расстелил мой Бог.

* * *

Так посещает жизнь, когда ступня снимает
песчаный слепок дна,
так посещает жизнь, как кровь перемещает
вовне, и, солона,
волну теснит волна, как складки влажной туши
лилового и мощного слона,
распластанного заживо на суше,
и в долгий слух душа погружена,

так посещает жизнь, как посещает речь
немого — не отвлечься, не отвлечь,
и глаз не отвести от посещения,
и если ей предписано истечь —
из сети жил уйти по истечении
дыхания, — сверкнув, как камбала,
пробитая охотником, на пекло
тащимая — сверкнула и поблекла, —
то чьей руки не только не избегла,
но дважды удостоена была
столь данная и отнятая жизнь.

Я Сущий есмь — вот тварь Твоя дрожит.

* * *

Ляжем, дверь приоткроем,
свет идёт по косо́й,
веет горем, покоем
и песчаной косо́й,

это жизнь своим зовом
обращается к нам,
вея сонным Азовом
с Сивашом пополам,

ты запомни, как долог
этот мыслящий миг,
что проник к нам за полог
и протяжно приник.

* * *

Проснувшись от страха, я слышал, он вывел меня
из ряда предметов, уравненных зимней луною,
ещё затихала иного волна бытия,
как будто в песке, несравненно омытом волною,

ещё возбегали в ту область её мураши,
нетрезвые пузы, зыри, не успевшие смыться,
и запечатлелась озёрная светлость души,
пока на окраинах доцокотали копытца,

причиною страха был ангел, припомненный из
ангины и игл, бенгальским осыпанных золотом,
и если продолжить, то чудные звуки неслись,
и створки горели, просвечены тонко гранатом,

и женщина, ты —

из белого тела была ты составлена так,
как песня того, кто тебя бесконечно утратил,
тот лирик велик был и мной завоёванных благ
он более стоил, поэтому их и утратил,

он был вожаком, протрубившим начало поры,
когда с водопоем едины становятся звери,
и в джунглях у Ганга топочут слоны, как миры,
и тени миров, преломившись, ложатся на двери,

и фермер Флориды следит, как порхающий прах
монарха, чьи крылья очерчены дельтой двойною,
своим атлантическим рейсом связует мой страх
с его стороною,

и запах был тот, что потом к этой жизни вернёт,
явившись случайно, явившись почти что некстати,
и свет, что так ярко, и страх, что внезапно берёт,
впервые горят над купаньем грудного дитяти.

«Тихий из стены выходит Эдип...»

* * *

Высокий и узкий мост над путями,
свистки паровозов, грохот сцеплений,
безногий нищий с кепкой и медяками
под кустом цветущей сирени,

город ставен с сердечками и песчаных улиц,
белый утром, днём жёлтый и ночью синий,
где есть свой парикмахер, свой безумец,
свой базар с влажно-гнилым прилавком, пропахшим дыней,

Господи, с веснушчатой рыжей жизнью
двух близнецов за забором хлипким,
со звуком из сада ученическим, чистым
будущей первой скрипки,

с комком у горла чуть ли
не у моего, но себя не вижу,
с дальней родственницей — белой, щуплой
девочкой над блюдцем двупалых вишен,

с острым кровосмесительным чувством
к ней, с полудетской лаской,
с тёплым воздухом, в котором пусто,
как на каникулах в классной,

с дядькой, который всё время шутит,
пританцовывая, и лет через десять,
Господи, умрёт и обо всём забудет,
и ещё через двадцать в последней строфе воскреснет.

* * *

Эти люди — держатели твоего
горя, не зря родиться
ты хотел бы ни от кого,
никому, никогда, никому, никогда не присниться,

я хочу сказать, что для них
твоя жизнь — непосильная ноша,
что любовь и тиранья родных —
это одно и то же,

эта комната — из породы палат
для душевнобольных: им застыт
сумасшедшие слёзы взгляд,
истязают взаимные их боязни,

посмотри, они нервно кричат
и размахивают руками,
друг без друга жить не хотят,
и рожают ясных детей, и становятся безумными стариками.

* * *

Кто знает отдельную муку
глядящего в сторону Леты,
он разве расскажет кому-то
о сдвигах душевных пластов без просвета,

о мёртвых толчках нутряного,
о выжженной к жизни охоте,
ему не до лёгкого, пьяного слова
на выдохе жаждущей плоти,

тоска его тяжеловесна,
из мощных провалов и сжатий,
ей каждое сердцебиение тесно,
тем более — слово некстати,

но вот и она проступает
на том берегу, где, возможно,
тяжёлый законченный стих отдыхает,
и пробует жить осторожно.

* * *

Голос дышит тяжело
города на том краю,
точно в смерти дырчатое жерло,
выдыхаешь в трубку жизнь свою,

тонкой изморози зверь пушной,
стынет голос в раковине ушной,
и на родине, как в плену,
в телефонной будке ты вмёрз в страну.

Только кровный тембр и спасёт
слух, свернувшийся взаперти,
и насквозь потрясёт
на обратном впотьмах продувном пути.

* * *

Между тем эта вымышленная жизнь
не хуже твоей, не хуже моей,
с теснотой по-коровьи толпящихся дней
(наподобие национальных меньшинств),

со свежавыкрашенным в хате полом,
где бухгалтер ходил, прятал ключи,
жил — голый череп в очках — долго
с женой и двумя дочерьми,

там не меньше пылает солнце,
чем здесь, и коза пасётся,
и приезжего жениха кормят обильно...
(Помнишь? — спрашиваю сестру. — Помню — пыльно.)

О, возможно на то и старость,
чтоб увидеть их счастье как шум и ярость,
но в спасительном свете, спасительном свете, и не иначе.
(Мы там жили ещё на даче.)

Там ходили с тазами они вчетвером
в баню, отмытый запах
клумбы с дымчатым табаком
проникал в их ноздри, и в чёрных накрапах,

чуть припудренный жёлтой пылью,
шелковистый мак источал свой свет...
Помнишь? Помню — идут между матерью и отцом
и смеются, не зная, что не было их и нет.

* * *

Шуба. Солнце. Январь.
В шубе. В солнце. Лицо.
Небо. Облако. Гарь.
Мать с отцом.

Белизна. День. Спит.
В белизне. В дне. Киоск.
В Гималаях так спит
снег. Как мозг.

Замер. Варешки. Пар.
В точку. Долго. Стою.
Крови внутрь удар.
В жизнь мою.

ШКОЛЬНИКИ. ВЕСНА

1

день солнечных томлений
со стружкой в луже голубой
её в колечках утоплений
штанины школьников гурьбой

2

тонкошеих учениц гуськом
снега кружевным воротничком
вербы вдоль побегом из зверинца
дымчато-пушным
синевой небесною ничком

3

в бумагу золотистую обёрнут
день как подарок развернуть мне долог
под линзою дымка древесный бормот
в земле размытой чайных роз осколок

4

вдруг четырёхугольник
стены сплошь розовый без окон
в закатный глаз попавший школьник
мигает магниевый опыт

* * *

Квартира в три комнатных рукава,
ребёнок из ванной в косынке,
флоксы цветут в крови сквозняка,
стопка белья из крахмала и синьки,

тёмная кухня, чашка воды
с привкусом белой рентгеновской ночи,
окна свои замечают следы,
разве ты можешь сказать, что не очень

любишь, и разве не знаешь, как сух,
плох этот стих — мимоходной кладовки не стоит,
той, на которую надо коситься, и двух-
трёх обветшавших на плечиках, съеденных молью историй,

это не время истлело, а крепдешин,
форточку-слух заливает погасшее лето
всё достоверней, и если бессмертней души
что-то и есть, то вот это, вот это, вот это.

СТИХИ ПАМЯТИ ОТЦА

1

Ночь. Туман невпродых.
И — лицом к октябрю —
надо прежде родных
исчезать, говорю.

Речь, которая есть
у людей, не берёт.
В большей степени весть
о тебе — этот крот.

Потому что он слеп.
Слепок чёрных глазниц.
В большей степени — степь.
Холод. Ночь без границ.

2

Узкий, коричневый, на два замка саквояж,
синие с белыми пуговицами кальсоны,
город, запаянный в шар с глицерином, вояж
в баню, суббота, зима и фонарь услезённый,

за руку, фауна булочной сдобная: гусь,
слон, бегемот, — по изюминке глаза на каждом,
то и случилось, чего я смертельно боюсь
там, в простыне, с лимонадом в стакане бумажном,

то и случилось, и тот, кто привыкнуть помог
к жизни, в предбаннике шарф завязавший мне, — столь же
к смерти поможет привыкнуть, я не одинок:
страшно сказать, но одним собеседником больше.

3

Я шлю тебе вдогонку город Сновск,
путей на стрелке быстрые разбеги,
хвостом от оводов тяжеловоз
отмахивается, на телеге

шагаловский с мешком мужик-еврей,
смесь русского с украинским и с идиш,
мишигинер побачит тех курей
и сопли разотрёт в слезах, подкидыш,

весь местечковый, рыжий, жаркий раж,
всю утварь роя, всё, чем мне казался
тот город, всю языческую блажь, —
египетский ли плен в крови казался,

не знаю... Эту жизнь, которой нет,
которая мне собственной телесней
была, на ту ли тьму, на тот ли свет
я шлю тебе мой голос бесполезный,

как в Белгороде где-нибудь, схватив
в охапку свёрток груш, с толпой мешаясь,
под учащённый пульс-речитатив, —
ты отстаёшь, в размерах уменьшаясь,

и я иду к тебе, из темноты
тебя вернув, из немощи, из страха,
как блудный сын, с той разницей, что ты
прижат к моей груди как короб праха.

* * *

футбол на стадионе имени
сергей мионовича кирова
второго стриженного синего
на стадионе мая миру мир

под небом бегло гофрированным
рядами полубоксы тыльные
левее ясно дышит море там
блистательно под корень спилено

на стадионе мая здравствует
флажки труду зато в бою легко
плакатом мимо государствует
бутылью с жигулёвским булькают

парада досааф равнением
идут руками всё размашистей
и вывернутым муравейником
меж секторов сползанье в чашу тел

потом замрёт и страшно высь течёт
над стадионом с. м. кирова
удары пустоты стотысячной
второго стриженного миру мир

по узеньким в часы песочные
в застолье ускользают сумерки
до дня победы обесточено
извилиной сверкнёт лишь ум реки

* * *

Из пустых коридоров мастики,
солнцерыжих паркета полос,
из тик-така полудня, из тихих,
тише дыбом встающих волос,

сохлым запахом швабры простенной,
труховой мешковиной ведра,
с подоконника пьющих растений
вверх косяя фрамуги дыра,

перочисткой и слойкой в портфеле,
Александров под партой ползёт
к Симакову, который недели
через две от желтухи умрёт,

безъязыкие громы изъяты
горячо, и в продутых ушах
две глухие затычки из ваты,
и уроки труда на стежках,

и на солнце прозрачные вещи,
и пчела к георгину летит,
в вакуолях пространства трепещет,
слюдяное безмолвье слезит,

то, что вижу, — не зрение видит,
не к тому — из полуденных тоск —
сам себя подбирает эпитет
и лучом своим ломится в мозг.

* * *

В георгина лепестки уставясь,
шёлк китайский на краю газона,
слабоумия столбняк и завязь,
выпадение из жизни звона,

это вроде западанья клавиш,
музыки обрыв, когда педалью
звук нажатый замирает, вкладыш
в книгу безуханного с печалью,

дребезги стекла с периферии
зрения бутылочного, трепет
лески или марли малярия —
бабочки внутри лимонный лепет,

вдоль каникул нытиком скитайся,
вдруг цветком забудься нежно-тускло,
как воспоминанья шёлк китайский
узко ускользя, ольза, уско

ПАМЯТИ ЛЕНЫ СОКОЛОВОЙ

1

Мел сыпается с досок,
тряпок, весенний,
треугольниками хеопсы
залежей, где бассейны,

угольные буравят мухи,
в море впадают вилы
Нила, Некрасов муки
отслоил для Ненилы,

слойки и перочистки,
читка пиесы в лицах,
актовый зал отчизны,
Софья и Лиза,

я берегами Стикса
Лену ищу в тоске,
мальчики ждут от икса
играка на доске,

по небу снимки
лёгких летят легко,
розовые, как у немки
голубое трико,

в ту строку, где «весенний»,
тихо просится «день»,
тень проносится тени
Лены, тень её, тень.

2

Вот ещё один
март солнечный
не воплощён, иди
сюда, со школы начни,

с коридора начни,
как на колено берут
портфель они,
девочки, и Лена не тут

уже, замочки блестят
и резинки видны,
чуть в проталинах сад
прописан весны

вдали, иди сюда,
где сплошь мокрая
земля и с чавканьем стиснуты
калош края,

ближе подойди,
по стеклу в грязи
битому проведи
и цветок спаси,

помня, с белых лиц
двух учительниц
как слетал шепотком
с траурным ободком

мир, пылящийся
в груди сумерек,
там, где плащ, вися,
умер, сник,

утомясь, томясь,
иди себе прочь,
небом пряных масс
наплывает ночь.

* * *

Приближение первого
сентября, что ли, нервное,
запах крашенных парт,
бледность контурных карт,

ржавых астр букет,
холодок календарных
дат, круглеющий след
на фуражке кокарды,

с задней парты смешок,
и трескучая млечность
ламп дневных, и шажок, и шажок,
словно с тапочками мешок
тянешь в вечность.

* * *

О, ядро с ключицы
в воздух послано сентября,
долго летит, лучится,
в памяти застревает зря,

катится, пав на землю,
сантиметра три,
тем ли я занят, тем ли
занят я, — тускло, ядро, гори,

трусики-абажуры,
девичьи позвонки гуськом
тянутся с физкультуры
в неотразимом огне таком,

и спокойная пропасть
обрывается, мёртво стоя
на своём, — точно пропись
с оглянувшимся «я».

* * *

По коридорам тянет зверем,
древесной сыростью, опилками,
и — недоверьем —
дита с височными прожилками,
и с лестниц чёрных
идут какие-то с носилками —
все в униформе.

Провоет силлая сирена,
пожарная ли это, скорая,
пуста арена,
затылок паники за шторую
мелькнёт, и ярус
из темноты сорвётся сворою
листвы на ярость.

Он не хотел на представленье,
оставь в покое неразумное
дитя, колени
его дрожат, и счастье шумное
разит рядами, —
как он, его не выношу, но я
зачем-то с вами.

Горят огни большого цирка,
прижмётся к рукаву доверчиво —
на ручках цыпки
(я плачу) — мальчик гуттаперчевый...
Скорей, в автобус,
обратно всё это разверчивай,
на мир не злобясь.

Они не знали, что творили:
канатоходцы ли под куполом
пути торили,
иль силачи с глазами глупыми
швыряли гири,
иль, оснежась, сверкали купами
деревья в мире.

* * *

Вестибюля я школьного
окончания в пору уроков,
вроде взрыва стекольного,
световых его пыли потоков,
вроде с улицы вольного,

или галстуком розовым,
проутюженным, веянье шёлка,
и к учебникам розданным
обоняние тянется долго,
всё продёрнуто воздухом,

пилкой лобзика ломкою
контур крейсера, пыльные взоры,
и, любовное комкая,
вся на северной встрече Авроры
кровь пульсирует громкая,

время тусклое лампочки
в раздевалке, тупых замираний,
и мешочка на лямочке,
и с родительских в страхе собраний
ожидания мамочки,

тонкокожей телесности,
шеи ватой обмотанной свинки,
астролябий на местности,
и рифлёных чулок на резинке,
и кромешной безвестности,

растворяйся, ранимая,
погружайся в тоске корабельной,
дом, и, неяснимая,
под бессмертный мотив колыбельной,
радость, спи и усни моя.

* * *

Поднимайся над долгоиграющим,
над заезженным чёрным катком,
помянуть и воспеть этот рай, ещё
в детском горле застрявший комком,

эти — нагрубо краской замазанных
ламп сквозь ветви — павлиньи круги,
в пору казней и праздников массовых
ты родился для частной строки,

о, тепло своё в варежки выдыши,
чтоб из вечности глухонемой
голос матери в форточку, вынувший
душу, чистый услышать: «Домой!», —

и над чаем с вареньем из блюдечка
райских яблок, уставясь в одну
точку дрожи, склонись, чтобы будничным
выпить ужас и впасть в тишину.

* * *

Тихим временем мать пролетает,
стала скаредна, просит: верни,
наспех серые дыры латает,
да не брал я, не трогал, ни-ни,

вот я, сын твой, и здесь твои дщери,
инженеры их полумужья,
штукатурные трещины, щели,
я ни вилки не брал, ни ножа,

снится дверь, приоткрытая вором,
то ли сонного слуха слои,
то ли мать-воевода дозором
окликает владенья свои,

штопка пяток, на локти заплатки,
антресоли чулок барахла,
в боевом с этажерки порядке
снятся строем слоны мал-мала,

ничего не разграблено, видишь,
бьёт хрусталь inferнальная дрожь, —
пяťся, за полночь из дому выйдешь
и уходишь, пока не уйдёшь.

* * *

Тихий из стены выходит Эдип,
с озарённой арены он смотрит ввысь,
как плывёт по небу вещунья-сфинкс,
смертный пот его ещё не прошиб.

Будущий из стены выходит царь,
чище плоти яблока его мозг,
как зерно проросший, ещё не промозгл
мир, — перстами его нашарь.

Воздух, воздух губами ещё возьми,
разлепи два века и слух открой,
и вдохни, как крепко, кренясь, корой
пахнет дерево ещё не-зимы.

Ты сюда явился запомнить взрыв
вещества, которым и образован сам,
в чистом виде равный своим слезам,
ни единой тайны стоишь не раскрыв.

В белом ещё обнявшихся нет сестёр-
дочерей, и мать ещё не жена,
и себя не уговаривает: «жива» —
жизнь, и дышит дышит дышит в упор.

* * *

Ломкую корочку снега
продавливая за гаражами,
за отвороты ботинок завалится,
звякая за подкладкой грошами,
долго на стену пялиться...
мокрыми пятками, медными пятаками...

Корочка снега бурая,
прошита горячо
собачьей капельками мочой,
в горле у идиота рыданье бурное,
всё ни о чём, ни от чего,
мамочку жаль, стена штукатурная.

(Если бы не слюны
запах с её платочка,
сажу стирает с моей щеки,
грустные окна слюды
на керосинке, я думаю, очень.
Долго в точку смотреть — и все далеки.)

Близко к рождению, небытие
втягивает, как в полынью,
разуделяются птицы две в небе те,
голову наклоню,
жить надо, врать, разорвать одну
жалобу школы на школьника в темноте.

Дай прихитрюсь,
припотею к воротничку,
жизнью пропахну, притрюсь,
страшно ему, идиоту и новичку,
мёрзнуть и, втискиваясь в эту узь
за гаражами, изничтожать себя по клочку.

С ДЯДЬКОЙ

Мы — солнце яркое
желтей желтка — сидим,
ты держишь чарку, я
в твою одежду дым
вдыхаю впитанный
ночных костров, войны,
охоты, вытканной —
из-за твоей спины
видна — на коврике,
где солнца луч лежит,
и столько в облике
твоём любви дрожит
моей, — тянусь рукой,
и чарка алая
вина, скользнув рекой,
наряд твой залила,
тогда, скривив лицо,
ладонь отводишь ты —
нежна, блестит кольцо
на пальце, как цветы

нежна, и линий вдоль
ладони бел пучок,
но обжигает боль
мне щёку горячо,
я в угол тот бегу,
где лира спит у нас,
и слабо берегу
до-пробужденья час.

БАБУШКА ВИДИТ МУЖА

Дня мерцанье белое в обводах рам,
белое мерцанье из окна сквозит,
никого на дереве, лица ни там
нет, ни там, прищеплена, весна висит,

с бельевых верёвок перекрёщенных,
номерком нашитым бегло мечена,
не душа живая — это вещь на них
рукавами сохнущими мечется,

о каком Давиде — указательным
тычешь в створ весны — тебе бормочется,
никого под деревом, но, знать, больным
видится, как хочется, как хочется,

что-то вроде плёнки кинопорванной,
где идёт война, эвакуация,
беженцы в стога ныряют, в створ видна
в воздухе висящая акация,

с крестиков, гудящих в небе, ненависть —
кладбище летит горизонтальное —
валится, и дымом всходит века весть,
убегает в даль зигзагом, в даль, снуя,

как овец, гонимых в преисподнюю,
смерть пасёт и гнёт их в три погибели,
Боже, человек живой бесплоднее
мёртвой птицы, усыплённой рыбы ли,

ты читай на дереве псалмы свои,
в них ночей тоску твою и дней тая,
пусть они баючат, ветви вислые,
путаницу смертную, по ней-то я

и служу на кухне поминальщиком,
мальчик и меняльщик глянца марок я
там, стекает по моим печаль щекам,
и в окне трепещет что-то яркое.

* * *

Ирине Служевской

Говорю: вращенье в барабанах
ворохов недельного белья,
тихие кварталы банных
вечеров, испарина жилья,

говорю: в цирюльнях отрезные
головы на вынос, простыней
полыханье, на закат сквозные
улицы уходят всё темней,

говорю: земли сырые комья
и небес встречаются в реке,
там, за семафором... ни о ком я,
ни о чём... о маленьком мирке.

О богах домашних, недалёких,
горизонт Психея не берёт
с перепугу, умещаясь в лёгких,
и плодов фруктовых полон рот.

Говорю: вот это зеленая,
это бакалейная, где нам,
в том числе и умершим, земная
пища отпускается на грамм...

Пострашнеем — и тогда постигнем,
что иные не живут нигде
так давно, что более — «пусти к ним!» —
и не просятся, — к земле, к воде,

к виноватым превосходствам жизни,
тем, где копошится Божья тварь
в табака душистой горловине...
Но Эдип ещё ребёнок. Царь.

* * *

Вернуться в этот город? Нет, избавь.
Застиранный, он сел, и я не влезу
рукою в протекающий рукав.
Не выйдет ни по росту, ни по весу.

Ни по душе. Я помню, как Полиб
бежит за сопляком, как тот: «Подкидыш!» —
кричит мне, исторгающему всхлип...
Ты подтвердишь родство? И справку выдашь?

А если оборванец прав? Оставь
мне временный, но дом, способность видеть
не помня ничего, и реку вплавь
позволь не брать, чтоб милых не обидеть.

Полиба нет? Мать потеряла речь?
Я знаю, но тебя не слышу, нимфу...
Хоть неоткуда более извлечь
свидетелей, — не подойду к Коринфу.

* * *

Над засушливым учебником
географии ли, биологии,
где снопы везут, где прививают
пестики к тычинкам,

и заочница идёт с вечерником,
всё стада, всё волоокие
девушки на свете прибывают,
тянутся карандаши к точилкам.

У семян дыханье слабое,
набухание и прорастание,
пишет, машет ли тебе полярник
шапкою-ушанкой,
иль Белову окружают, лапая,
гроздь дышат мироздания,
устья, русла, стебли, и кустарник
за окном акации с Каштанкой.

Луковицы мякоть едкую,
микроскопу вверив неослабную
любопытность, потев телом,
с каплею раствора
йода, — рассмотри, дыша соседкою,
ты ли рисовал похабную
и надписывал картинку мелом,
и в прозекторской дрожал позора.

Истомлённое растение
на тарелке с трещиной и лужицей,
корни стержневые у фасоли,
семядоли, почки,

совести в потёмках угрызения,
что я говорила, слушаться
надо, белые пылают боли,
отмирая в час по чайной строчке.

Всё равно, не я, а он это,
отлетает от меня двойник это,
на него смотри, пока укроюсь
с головой и сгину,
ты какую глупостью так тронута
или чем, душа, проникнута,
лучше помоги, а то расстроюсь,
я не виноват ни в чём, пусти, ну...

* * *

Квартира окнами на Кировский.
Февраль чуть обморочный, вирусный.
Двор сумрачный. Я скоро вырасту.

За дверью чёрной, дерматиновой
тоскливой лентой серпантиновой
петляют звуки сонатины той.

Уроки сонные эстетики.
Там разбирают ноты Гедике.
Я «зажимал» её на «Медике».

Смотри: бутылочный и уличный
ложится свет (парок из булочной)
на свитер с бахромой сосулечной.

Смотри: у батареи огненной,
ещё по шляпку в жизнь не вогнанный.
Смотри: заглядываю в окна к ней.

Не вогнанный ещё, не вынутый,
с той, не сливаясь, с той невинно стой.
О, Иванов, во всём продвинутый.

О, скуки нежное святилище,
лекальный сон пюпитра, пыль ещё
в изгибах, полдень музучилища.

Или ещё пыльнее: техникум.
За горло взятых тем, но тех, никем
не взятых лучше, неврастеником

отчасти, взятых тем вершителем —
приди: вот женщина с сожителем.
На вешалке фуражка с китемем.

* * *

С кем-то я по каменным ступеням,
ровно семь, открыта дверь, иду,
постепенно проступает пеньем
радио контральтным, на свету

мать рояль безмолвно протирает,
в комнату проходит некий тот,
но в другую, рук не простирает
мать ко мне, рояль не видя трёт,

тот на пишмашинке — строчка-зуммер —
за стеною буквится в углу,
жив отец, не помню, или умер,
я хочу спросить, но не могу,

перед праздником паркет начищен,
кубометры комнаты горят
воздухом вины, как вдруг насыщен
он отсутствием всех и всего подряд,

и бесхозный голос, эта мнимость,
то есть — исчезающий вдвойне,
дрогнув паутинкой на стене,
оставляет чистую вместимость.

* * *

Я вотру декабрьский воздух в кожу,
приучая зрение к сараю,
и с подбоем розовым калошу
в мраморном сугробе потеряю.

Всё короче дни, всё ночи дольше,
неба край над фабрикой неровный;
хочешь, я сейчас взволнуюсь больше,
чем всегда, осознанней, верховней?

Заслезит глаза гружённый светом
бокс больничный и в мозгу застрянет,
мамочкину шляпку сдует ветром,
и она летящей шляпкой станет,

выйду к леденеющему скату
и в ночи увижу дальнозоркой:
медсестра пюре несёт в палату
и треску с поджаристой коркой,

сладковато-бледный вкус компота
с грушей, виноградом, черносливом,
если хочешь, — слабость, бисер пота
полднем неопрятным и сонливым,

голубиный гул, вороний окрик,
глухо за окном идёт газета;
если хочешь, спи, смотри на коврик
с городом, где кончится всё это.

БОЛЕЗНЬ

1

Всё это жар.
И абажура шар.
Ажурный, ал.
Ребёнок хнычет, мал.

Рефлектор, блеск.
Спирали лёгкий треск.
Раскалена,
глаза слепит она.

В тот миг, когда
в него метнёт орда
стрел золотых
тоску, чтоб он затих,

дай руку, дай.
Купи мне раскидай.
Китай цветов
бумажных и цветов.

Ещё волчок.
Ещё «идёт бычок...»
Волчок кружит.
Дитя в ночи лежит.

Там довелось
ему спастись, но ось
тоски, ввинтятся,
со смертью держит связь.

Напёрсток, нить.
Её заговорить
избыток слов
я знаю. Радость, кров.

И потому,
когда шагну к Тому,
жизнь сбросив с плеч,
забуду речь.

2

В той лампа есть ночи́,
в той лампа
ночи́ горящая.
Машинка «Зингер», стрекочи
в столовой слабо.
Тряпье пропащее.

Там и соткётся вдруг
из света,
из света жёлтого,
как бы замедлив скорость, звук
тоски, и это
тоска животного.

Урчанье, шорох, страх,
по трубам
водопроводная
тоска с захлёбом, впопыхах,
как мышь по крупам,
мне соприродная.

Там в горле я комком,
там в горле,
в слезливой жалости
к себе, свернусь. Пылает дом,
и жар растёрли.
Из этой малости:

любви, и жизни, и
болезни, —
когда закончатся
все три, свой свет себе верни
и в нём воскресни.
Строчи, пророчица.

Под лампой рúки, блеск
челночный,
ушко игольное,
тряпьё пропашее, и треск
тот полуночный,
тоска продольная.

РАЗВОРАЧИВАНИЕ ЗАВТРАКА

Я завтрак разверну
между вторым и третьим
в метафору, задев струну,
от парты тянущуюся к соцветьям

на подоконнике, пахнёт
паштетом шпротным
иль докторской (я вспомню гнёт
учёбы с ужасом животным:

куриный почерк и нажим,
перо раздваивается и капля
сбегает в пропись, — недвижим,
сидишь, — не так ли

и ты корпел, и ручку грыз,
и в горле комкалась обида,
товарищ капсулей и гильз
и друг карбида?),

я разверну, пока второй урок
не слился с третьим,
свой завтрак, рябь газетных строк
гагаринским дохнёт столетьем,

кубинским кризисом своим
пугнёт, и в раме,
дымком из бойлерной кроим,
зажжётся Моцарт в птичьем гаме.

(Куда всё это делось? — вот
развёртыванья всех метафор
моих и памяти испод,
и погреб амфор.

Я вижу маму, как мне жаль
её (хоть болен я), и вдруг, в размерах
уменьшившись, уходит вдаль
и, крошечная, в шевеленьях серых,

сидит в углу, тиха.
Тогда-то, прихватив впервые,
как рвущейся страницы шороха́,
шепнуло время мне слова кривые.)

Теперь давай доразверни
свой завтрак. Парта.
Дневного света трубчатые дни
в апреле марта.

* * *

Мать жарит яичницу
на кухне. Подъём.
Лицо твоё тычется
в подушку. Всплакнём.

Всплакнём, моя мамочка.
Зима и завод.
У жизни есть лялочка.
В семье есть урод.

То лампы неоновой
расплыв на снегу,
то шубы мутоновой
забыть не могу.

Фреза это вертится,
с тех пор и не сплю,
цеха это светятся,
с тех пор и люблю,

когда обесточено
и спяще жильё.
К чему приурочено
рождение моё?

Всплаknём, моя мамочка.
В часах есть завод.
У щёчки есть ямочка.
«На выход!» — зовёт.

Прижмись, что ли, к инею
на чёрном стекле.
Мать гнёт свою линию,
покоясь в земле.

* * *

Это некто тычется там и мечется,
в раковину, где умывается, мочится,
ищет курить, в серой пепельнице
пальцев следы оставляет, пялится, пятится,

это кому-то хворается там и хнычется,
ноют суставы, арбуза ночного хочется,
ноги его замирают, нашарив тапочки,
задники стоптаны, это сынок о папочке,

это арбузы дают из зелёных клеток, поди,
ядра, бухой бомбардир, в детском лепете
жизни, дождя, — ухо льнёт подносящего
к хрусту, шуршит в освещении плащ его,

это любовью к кому-нибудь имярек томим,
всякое слово живое есть реквием,
словно бы глубоководную рек таим
тайну о смерти невидимой всплесками редкими,

где твои дочери, к зеркалу дочередь
кончилась, смылись, вернулись брюхатые, ночи ведь,
где твой сынок, от какой огрубевшие пяточки
девки уносит, это сынок о папочке

песню поёт, молитву поёт поминальную,
эй, атаман, оттоманку полутораспальную,
с ним на боку, хрипящим, потом завывшим,
имя сынка перепутавшим с болью, забывшим.

* * *

и одна сестра говорит я сдохну
скорее чем кивая туда где мать
я смотри уже слепну глухну
и уходит её кормить

и другая кричит она тоже
человек подпоясывая халат
хоть и кости одни да кожа
доживи до её престарелых лет

доживёшь тут первая сквозь шипенье
и подносит к старушечьему рту
ложку вторая включает радиопенье
и ведёт по пыли трюмо черту

что кривишься боишься ли что отравим
что на тот боишься ли что отправим
Антигона стирает пыль
есть прямые обязанности мне её жаль

говорит Исмена хоть нанимай сиделку
тоже стоит немалых денег
причитая моет стоит тарелку
за границей вертится брат Полиник

ни письма от него ничего в помине
Антигона кричит и приносит судно
да-да-да да-да-да но о ком о сыне
мать их дакает будь неладна

иль о муже поди пойми тут
то заплачет рукой махнёт отвяжитесь
от Полиника пожелтый свиток
ей одна читает другая выносит жидкость

Аполлоном прочно же мы забыты
говорит одна вечереет и моет другая руки
и сменяет музу раздражённой заботы
Меланхолия муза скуки

потому что выцвести даже горю
удаётся со временем и на склоне
снится Исмене поездка к морю
и могила прибранная Антигоне

* * *

Мать исчезла совершенно.
Умирает даже тот,
кто не думал совершенно,
что когда-нибудь умрёт.

Он рукой перебирает
одеяла смертный край,
так дитя перебирает
клавиши из края в край.

Человека на границах
представляют два слепых:
одного лицо в зарницах
узнаваний голубых,

по лицу другого тени
пробегают темноты.
Два слепых друг друга встретят
и на ощупь скажут: ты.

Он один теперь навеки,
потому что жизнь сошлась
на смерть в этом человеке,
целиком себя лишаешь.

ВОСКРЕШЕНИЕ МАТЕРИ

Надень пальто. Надень шарф.
Тебя продует. Закрой шкаф.
Когда придёшь. Когда придёшь.
Обещали дождь. Дождь.

Купи на обратном пути
хлеб. Хлеб. Вставай, уже без пяти.
Я что-то вкусненькое принесла.
Дотянем до второго числа.

Это на праздник. Зачем открыл.
Господи, что опять натворил.
Пошёл прочь. Пошёл прочь.
Мы с папочкой не спали всю ночь.

Как бегут дни. Дни. Застегни
верхнюю пуговицу. Они
толкают тебя на неверный путь.
Надо постричься. Грудь

вся нараспашку. Можно сойти с ума.
Что у нас — закрома?
Будь человеком. НЗ. БУ.
Не горбись. ЧП. ЦУ.

Надо в одно местечко.
Повесь на плечики.
Мне не нравится, как
ты кашляешь. Ляг. Ляг. Ляг.

Не говори при нём.
Уже без пяти. Подъём. Подъём.
Стоило покупать рояль. Рояль.
Закаляйся, как сталь.

Он меня вгонит в гроб. Гроб.
Дай-ка потрогать лоб. Лоб.
Не кури. Не губи
лёгкие. Не груби.

Не простудись. Ночью выпал
снег. Я же вижу — ты выпил.
Я же вижу — ты выпил. Сознайся. Ты
остаёшься один. Поливай цветы.

* * *

снял конёк ещё сердце вдвойне
в два прозрачных стекла
и упал на ковёр
и на розовой нежной ступне
исчезающий влажный узор
шерстяного носка

**«Вцепившись
в слов испод горячий...»**

* * *

Тридцать первого утром
в комнате паркета
декабря проснуться всем нутром
и увидеть, как сверкает ярко та

ёлочная, увидеть
сквозь ещё полумрак теней,
о, пижаму фланелевую надеть,
подоконник растений

с тянущимся сквозь побелку
рамы сквозняком зимы,
радоваться позже взбитому белку,
звучу с кухни, запаху невыразимо,

гарь побелки между рам пою,
невысокую арену света,
и волной бегущей голубою
пустоту преобладанья снега,

я газетой пальцы оберну
ног от холода в коньках,
иней матовости достоверный,
острые порезы лезвий тонких,

о, полуденные дня длинноты,
ноты, ноты, воробьи,
реостат воздушной темноты,
позолоты на ветвях междоусобье,

канители, серебристого дождя,
серпантинные спирали,
птиц бумажные на ёлке тождества
грусти в будущей дали,

этой оптики выпад —
из реального в точку
засмотреться и с головы до пят
улетучиться дурачку,

лучше этого исчезновенья
в комнате декабря —
только возвращенья из сегодня дня,
из сегодня-распри —

после жизни толчеи
с совестью или виной овечьей —
к запаху погасших ночью
бенгальских свечей,

только возвращенья, лучше их
медленности ничего нет,
тридцать первого проснуться, в шейных
позвонках гирлянды капли света.

* * *

Посреди собраний
на работу сесть в кресло,
всё забыть. Что страннее —
из-за штор — солнечного весла?

Темнота ангара,
двойки корпус распахной,
«Водник», «Водник», порá
выйти на воду в свет сплошной.

Посреди, говорю,
комнаты с неубранной
постелью — к морю
путь реки ранней.

И теперь — ключиц
блеск и уключин, тина,
загребной лучится,
первый розов загар спины.

Приоткрой папиросную —
и коллекцией марок
набережная резная.
Посреди морбк,

привыканий — сядешь
в кресло и вдруг как равный
головокружась сойдёшь
на землю дерева и травы.

ВОСКРЕСЕНИЕ

Это горестное
дерево древесное,
как крестная
весть весной.

Небо небесное,
цветка цветение,
пусть достигнет ясное
тебя видение.

Пусть ползёт в дневной
гусеница жаре,
в дремоте древней,
в горячей гари,

в кокон сухой
упрячет тело —
и ни слуха ни духа.
Пусть снаружи светло

так, чтоб не очнуться
было нельзя, —
бабочка пророчится,
двуглаза.

* * *

Кириллу Кобрину

О, по мне она
тем и непостижима,
жизнь вспомненная,
что прекрасна, там тише мы,

лучше себя, подлинность
возвращена сторицей,
засумерничает леность,
зеркало на себя засмотрится.

Ты прав, тот приёмник,
в нём поёт Синатра,
я тоже к нему приник,
к шуршанью его нутра,

это витание
в пустотах квартиры,
индикатора точки таянье,
точка, тире, точка, тире.

Я тоже слоняюсь из полусна
в полуявь, как ты,
от *Улицы младшего сына*
до *Четвёртой высоты*.

Или заглядываю в ящик:
марки (венгерские?) (спорт?),
и навсегда старьёвщик
из Судьбы барабаничка, — вот он,

осенью, давай, давай, золотись,
медью бренчи,
в пух и прах с дерева разлетись,
«Старьё берём!» прокричи.

В собственные ясли
тычься всем потóm.
Смерть безобразна, если
будет её не вспомнить потóm.

НАКАНУНЕ

Вдруг такая сожмёт сердце,
такая сердце сожмёт, гремя,
поезд, под железным стоишь, в торце
улицы, слышишь, как время

идёт, скоро, скоро уже холодно,
будет молчать хорошо,
под ногами первое легло дно,
первая под ногами пороша,

и как будто мира все лучи, все
в точке жизни моей, не найдя,
собрались, не найдя меня, чище
не бывает высвеченного изъятья,

и пора заводить стороннюю
песню радости, витрин Рождества,
и билетик проездной, роняя
по пути перчатку детства,

доставать, вон туда идти, мимо
свай, а из перчатки пусть,
сдутой ветром, потерянной, как письмо, —
пульс вобравший, прорастает куст.

ШАХМАТНЫЙ ЭТЮД

Шахмат в виде книжки
пластмассовые прорези,
по бокам для съеденных фигур стежки
столбиком, резные ферзи,

пешки-головастики, ладьи,
в шлемах лаковых слоны,
я пожертвую собою ради
жёлтого турнира в клубе — лбы наклонны

над доской — Чигорина,
в клубе, на Желябова, —
гóря, гóря — на! много гóря — на! —
как уйти от продолженья любового? —

инженеры в жёлтом
свете с книжечками шахмат,
о, просчитывают варианты, шёл в том
снег году, пар у дверей лохмат,

шёл в том, говорю, году
снег и кони Аничковы Четырёх коней
помнили дебют и рвались на свободу
от своих корней всё непокорней,

две ростральные зажгли
факелы ладьи, Екатерины
ферзь шёл над своею свитой, в тигле
фонаря зимы сотворены —

белые кружились в чёрном,
инженер спешил домой,
в одиночестве стоял ночном
голый на доске король Дворцовой,

жертва неоправданна была,
или всё сложилось, как та книжка,
где фигуры на ночь улеглись, где их прибило
намертво друг к другу, нежно,

и никто не в проигрыше, разве
ты не замирал в Таврическом саду,
в лужах стоя, Лужин, где развеян
и растаян прах зимы, тебя зовут, иду, иду.

ТЕАТР

Свет убывает, в темноте
поднимут занавес,
дохнёт со сцены — я секунды те, —
сырым холстом, прохладой, — о, я помню весь.

Макарова: «Светает... Ах!» —
и пухленько бежит к часам, — «седьмой,
осьмый, девятый», и ленивый вздох
Дорониной, дородной ведьмы,

в кулисах, дышит и вздымает грудь.
Их простодушное притворство,
их обезьянничанье. Взять бы в прутья
створ сцены, створ

вдруг освещён, театр, театр,
от слова «бельэтаж» идёт сиянье,
вращающийся круг, к вам Александр
Андреич Юрский, на Фонтанке таянье

и синеватый и служебный свет,
экзаменационный воздух.
Где ж лучше? Где нас нет.
Нас двух автобус двадцать пятый вёз, о, вёз двух,

мы в тёмном уголке, вы помните? вздрогнём
у батарей в парадной,
когда проезжих фар окатит нас огнём
и перспективу обратной.

Гонись за временем, гонись,
дверь скрипнет, ветерок скользнёт, и
за ним Лавров с бумагами-с,
и фиолетовые фортепьяно с флейтой ноты

захлопнуты. Его ли предпочтёшь на выпускном балу,
созвездье ли манёвров и мазурки?
Театр, о, монологи с пылу,
бинокли, жестяные номерки,

Стрельчик жив ещё, внутри фамилии
своей весь в мыле проскоча,
бежит ли вдоль Фонтанки, «нон лашьяр ми...» ли
поёт, театр, сверкают очи,

он пьян, он диссидент, вон, вон
из Ленинграда, в Ленинграде
спектакль закончен, мост безумный разведён.
Вы раде?

Я призван этот клад зарыть,
точнее — молвить слово
во имя слова: ах, что станут говорить
Карнович-Валуа и Призван-Соколова?*

СКВОЗЬ ТУННЕЛЬ

Как, единственная,
я тебя избывал,
жизнь истинная,
от себя избавлял,

чтобы и ты не особенно
привыкла ко мне.
Не просил согбенно,
себя не помня:

будь со мной. Дремля,
спал. Или шёл, идя.
Поезд в землю
с земляного покрытия

уносил. Вот место
земли и неба,
где ты всегда есть то,
что не может не быть,

* В стихотворении упоминаются фамилии актёров, игравших в знаменитом «Горе от ума» Г. А. Товстоногова; цитаты, данные в основном без кавычек, соответствуют грибоедовской орфографии.

ты внезапный стог
света, ты моя —
прошив тьмы сгусток —
жизнь истинная.

ГОЛЬДБЕРГ. ВАРИАЦИИ

1. 1955 год

Гольдберг, Гольдберг,
гололёд
в Ленинграде, колкий — сколь бег
на коньках хорош! народ —
лю-ли, лю-ли, ла-ли, ла-ли —
валит, колкий снег, вперёд.

Гольдберг мимо инженерит
всех решёток, марш побед,
пара пяток, двери пара,
фары, фонари, нефрит
улиц хвойного базара,
парапет.

Блеск витрины, коньяки леском
и ликёры, зырк, и сверк, и зырк,
апельсины в Елисеевском
покупает Гольдберг, Гольдберг —
будет жизни цирк
вскачь и впрок.

К животу он прижимает куль
и летит, дугою выгнув нос,
а двуколка скул,
а на повороте вынос,
Гольдберг, коверкот, каракуль,
коверкот, каракуль, драп.

Сколько кувырков и сколько
жизни тем, кому легка.
Пусть в прихожей Гольдберг — колкий
тает снег — споткнётся-ка:
катятся цитрусовые из кулька,
Гольдберг смеётся, смерть далека.

2. ОТПУСК

Лимана срезанный лимон.
Зеленоватый блеск.
На грязях.
Евпаторийское (евреи, парит, сонно).
Всем животом налёг на берег, вес к
песку и с лёгкою ленцой во фразах.

(А Фрида, Гольдберг,
Фрида в тех тенях, —
за ставнями твоя сестра с кухаркой.
Час, каплющий с часов настенных,
как масло, медленный и жаркий.
Чад, шкварки.)

Вдруг запоёт из Кальмана — платочек
в четыре узелка на голове —
«Частица чёрта в нас»,
примёт проточных
мир, ящерица — чуть левой
фотомгновения — зажглась.

Пульсирующая на виске
извилистою жилкой мира —
вот, Гольдберг, вот —
на камне ящерица, высверк, брень пунктира.
Встал и спугнул, в полупеске
полуживот.

(А Любка, Гольдберг,
а кухарка Любка —
смех однозуб,
плач — кулачок в глазу, о, Тот, Кто в хлюпко-
её придурковатую роль вверг,
Тот в нежности Своей не скуп.)

Разнообразье: что ни особь,
то — дивная! Он — с полотенцем полдня
через плечо — идёт домой, он, россыпь
теней листвы вбирая
и ватой сахарной рот полня, —
в аллеях рая.

3. ШАХМАТНАЯ

Он сгоняет партишку сейчас
с мной, ребёнком,
он сгоняет партишку, лучась
хитрым светом, косясь и лукавясь,
Смейся, смейся, паяц, — он поёт, в его тонком
столько голоса каверз.

Он замыслил мне вилку, и он
затаится,
и немедленно выпрыгнет конь
из-за чьей-то спины со угрозой,
Шах с потерей ладьи, — восклицает, двоится
мир и виден сквозь слёзы.

Гольдберг, что бы тебе в поддавки
не сыграть бы,
нет, удавки готовишь, зевки
не прощаешь, о, Гольдберг коварист,
Заживёт, заживёт, — запекает, — *до свадьбы,*
он и в ариях арист.

Он артист исключительных сил,
он свободен,
а с подтяжками брюки носил,
а пощёлкивал ими, большие
заложив свои пальцы за них, многоходен,
Гольдберг, Санта Лючия!

4. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Но булочки на противне,
но в чудо-печке,
но с дырочками по бокам,
сегодня будет в красном, Гольдберг, рот вине,
на пироге задуешь свечки,
взбивалкою взобьёшь белок белкám.

Тем временем я с мамою
из дома выйду
и — на троллейбус номер шесть,
и душу, Гольдберг, всполошит зима мою,
такая огненная с виду
и вместе чёрная. Я, Гольдберг, есть.

Я знаю кексы в формочках,
мой бог, с изюмом,
раскатанного теста пласт,
проветриванье кухни знаю, в форточках
спешащие с нежнейшим шумом
подошвы, примаинающие наст.

На площади Труда сойти,
потом две арки,
прихожей знаю тесноту,
туда я посвечу, а ты сюда свети,
Какие гости! где подарки?
Морозец! ну-ка, щёчку ту и ту!

А вот и вся твоя семья,
ты посере́дке, обе с краю.
Всё есть, всё во главе с тобой.
А кто сыграет нам сегодня, Гольдберг? — я,
сегодня я как раз сыграю,
а ты куплеты Курочкина пой.

5. ПЯТНИЦА

По пятницам, — а жизнь ушла
на это ожиданье пятниц
(не так ли, дядька мой неитальянец?) —
от будней маленьких распятыц, —
ты во Дворец культуры от угла
стремишь свой танец.

Какой проход! В душе какой
(на предвкушенье чудной жизни —
не так ли, родственник шумнобеспечный? —
жизнь и ушла в чужой отчизне,
в той, где бывают девушки с киркой)
пожар сердечный!

Участник нынче монтажа
по Гоголю ты Николаю.
«Вишь ты, — сказал один другому...» Слышу.
И, помню, перед тем гуляю
с тобою, за руку тебя держа.
Ты, Гольдберг, — свыше.

«Доедет, — слышу хохот твой, —
то колесо, если б случилось,
в Москву...» О, этим текстом италийским
как пятница твоя лучилась,
всходя софитами над головой,
на радость близким!

Премьера. Занавес. Цветы.
Жизнь просвистав почти в артистах,
о спи, безгрёзно спи, зарыт талантец
хоть небольшой в пределах льдистых,
но столь же истинный, сколь, дядька, ты
неитальянец.

ПРОЛИСТЫВАЯ КНИГУ

Вдоль холода реки — там простыня
дубеет на ветру, прищепок птицы,
в небесной солнце каменное сини,
и безоконные домов торцы,

то воздуха гранитный памятник,
и магазина огурцы и сельдь,
то выпуклый на человеке ватник,
и в пункт полуподвальный очередь,

и каждый божий миг рассвет и казнь,
сплошное фото серых вспышек,
и нелегальной жизни искус,
кружки и типографский запашок, —

вдоль холода реки — там стыд парадных
прикрыт дверей прихлопом, «пропади
ты пропадом!» — кричат в родных
краях, не уступив ни пяди

жилплощади, то из тюрьмы на звук
взлетит Трезини, ангелом трубя,
собор в оборках, первоклассник азбук,
закладки улучённый миг тебя.

ЦПКиО

Алёне и Льву Рейтблатам

ЦПКиО, втоскуюсь в звук, в цепочку —
кто — Кио? Куни? — крутят диски цифр —
в цепочку звука, в крошечную почву
консервной рыболовства банки «сайр»

(мерещь себя, черёмуха, впотьмах,
сирень, дворы собой переслади:
жизнь — это Бог, в растительных сетях
запутавшийся, к смерти по пути), —

перемноженье шестизначных гидр,
в уме, в своём уме, о, на открытом,
о, воздухе, о, лабиринты игр,
о, фонари Крестовского над Критом,

центральный парк, овчарки сильных лап
опаловые полукружья,
и небу над Невой преподнесённый залп
букета фейерверка из оружия,

палёным пороха пахнёт хвостом,
все рыбаки всех корюшек, все лески,
дохнёт вода газетой, под мостом
меняя шрифт и медля в тяжком блеске,

и вновь гигантские перенесут шаги
на острова колёс прозрачных обозренья,
и вот на воинства бегущих крон мешки
набросит ночь, и сон-столпотвореньё

завертит диски, и на них — циклопа о
горящем глазе — бросит фокусника детства,
гаси арены циркульной соседство
и на цепочку звук замкни: ЦПКиО.

ФУТБОЛ

Комнаты координат протяженье.
Батарея зимой горяча.
Рябовато-голубое притяженье.
Справа по флангу идёт Гарринча.

Наши микрофоны установлены.
Маракана, где ты, в Рио?
Спит отец в ковёр лицом, и волны
времени его несут незримо.

Мяч выбрасывают из-за боковой.
Корнер. Почему ты *корнер*?
Бисер лиц трибуною-подковой
нависает. Шорох смерти сер.

Стадион-гнездо какое свили,
ухо шума! Вот они, стихи,
где на тёплом счастьеце нас провели,
сладком звуке: *метревели-месхи!*

Но за это протяжение ни шагу.
Только здесь твой лексикон.
Так прислушивайся к шарку,
пробивай свободный, будь изыскан.

Кто по коридору ходит, щёлком
зажигает электричество и вещи?
Весь живёшь, не станешь целиком
тоже, и тогда слова ищи-свищи.

На одном финте, но от опеки
отрывается Гарринча к лицевой,
и подача на штрафную, мяч навеки
зависает — спит и видит — над травой.

ПО ПУТИ НА МУЗЫКУ

В раздрызганном снегу, темненье
часов пяти-шести, кирпичных пара
стен, струйка из подвала пара,
и сырость грубого коры растенья.

Сугробы полутающие дождь ест.
Плутающие люди, сгустки плоти.
Им страшно *быть*. Так ясность тождеств
внушает ужас числовой пехоте.

Плутающие люди. На задворках
за магазином — гибнущая тара,
и воздух весь в догадках дальнорорких,
и мучают «Бирюльки» Майкопара.

О чём твоё несовершенство молит?
Никто начало жизни не поправит.
Но темнота — *темнит*. И воля — *волит*.
И явь себя в тождественности *явит*.

КОСНОЯЗЫЧНАЯ БАЛЛАДА

Я этим текстом выйду на угол,
потом пойду вдали по улице, —
так я отвечу на тоски укол,
но ничего не отразится на моём лице.

Со временем ведь время выветрит
меня, а текст ещё уставится
на небо, и слезинки вытрет вид
сырой, и в яркости пребудет виться.

Он остановится у рыбного,
где краб карабкает аквариум
с повязкой на клешне, и на него
похожий клерк в другом окне угрюм.

А дальше нищий, или лучше — ком
тряпья, спит на земле, ничем храним,
новорождённым спит покойником,
и оторопь листвы над ним.

Жизнь, всё забыв, уходит заживо
на то, чтобы себя поддерживать,
и только сна закладка замшево
сухую «смерть» велит затверживать.

Прощай, мой текст, мне спать положено,
постелено, а ты давай иди
и с голубями чуть поклюй пшено,
живи, меня освободи.

ИЛИАДА. ДВОЙНОЙ СОН

Григорию Стариковскому

В сон дневной уклонясь
 благотворный,
на диване в завешенной
 комнате,
где забвения краткого угли нас
греют и предстаёт жизнь иной
 и бесспорной, —

там проснуться как раз
 ранним летом,
внутри сна, на каникулах,
 двор в окне —
его держит полукругом каркас
лип, и мальчиков видеть в бликах,
 в дне нагретом.

Солнце видеть во сне,
 копыеносных,
кудреглавых и вымерших
 воинов,
спи всё дальше и дальше, и ревностней
убаюкивай себя в виршах
 перекрёстных.

Лук лоснится, стрела,
перочинный
ножик влѣсть снимает кору,
десятый
год осады мира тобой, и светла
неудвоенной жизни пора,
беспричинной.

Сладко спи под морской
шум немолчный,
покрывалом укрытая
шѣлковым
жизнь, не ведающая тоски мирской.
Длись, золотистость игры тая,
сон солнечный.

Там Елена твоя,
с вышиваньем,
за высокой стеной сидит,
юная,
и в душе твоей ещѣ невнятная,
но — звучит струна, своим грозит
выживаньем.

Или лучше, чем явь,
краткосмертный
сон? — одно дыханье сулишь
чистое.

Облака́ только по небу и стремглавь,
доноси эхо ахеян лишь,
голос мерный.

Вечереющий день
ещё будет,
не дождёшься ещё своих
родичей
сердцем, падающим что ни шаг, как тень.
Пусть вернутся домой, пусть живых
явь не будит.

В летней комнате тишь,
пол прохладный,
тенелиственных сот стена,
Елена
снится комнате, шелест в одной из ниш —
то покров великий ткёт она
и двускладный.

Ты на нём прочитай
рифмой взятый
в окруженье текст сверху вниз:
трусливо
девять строф проспал ты, теперь начинай
бесстрашью учиться и проснись
на десятой.

«ПОЛИГРАФМАШ»

Завод «Полиграфмаш», циклопий
твой страшный, полифем, твой глаз
горит, твой циферблат средь копей
горит зимы.

Я в проходной, я предъявляю пропуск
и, через турникет валясь,
вдыхаю ночь и гарь — бедро, лязг, —
валясь впотьмы.

Вот сумрачный народ тулупий
со мной бок о бок, маслянист
растоптанный поодаль вкупе
с тавотом снег,
цехов сцепления и вагонеток,
лежит сталелитейный лист,
и синим сварка взглядом — огонь, ток, —
окинет брег.

Слесарный, фрезерный, токарный,
ты заусенчат и шершав,
завод «Полиграфмаш», — угарный
состав да хворь —
посадки с допусками — словаря, — вот,
смотри, как беспробудно ржав,
сжав кулачки, сверлом буравит,
исчадье горь.

Спивайся, полифем, суспензий
с лихвой, и масел, и олиф,
резцом я выжгу глаз твой пёсий,
то жёлтый, то
гноино-зелёный, пей, резец заточен,
он победитовый, пей, скиф.
Людоубийца, ты непрочен.
Я есть Никто.

Завод «Полиграфмаш», сквозь стены
непроходимые, когда
под трубный окончанья смены
сирены вой
ты лыко не вязал спяна, незрячий,
я выводил стихов стада,
вцепившись в слов испод горячий
и корневой.

ПО КИРОВСКОМУ

Свидетель воздуха я затемнений
различной степени, особенно
когда изрядна морось в городе камней.
И вдруг «ко мне!» услышишь, — незабвенно

косым она прыжком — с хозяином.
«Всё на круги...» — неправда мудрости.
Ведь что ни миг — то в освещении *ином*.
И в этом жёсточь совершенной грусти.

Дворы, дворы. Куда ни глянь — дворы.
Выходишь за полночь, — иди, тебя
ждут разбегающиеся раздоры
над головой лиловых облаков, рябя.

В кустах глаза́ бутылочки привиделись,
склянь чеховской, разбитой, колкой.
Какой счастливой, жизнь, ты выдалась, —
столь, сколь (глянь-склянь) недолгой.

С последней точностью внесёт поправки
пусть память, выплески домов распознаны
в документальной ленте Карповки,
отсняты отсветы и тени дна расползаны.

То увеличиваясь тенью в росте,
то со стены себе ложишься под ноги, —
проход непререкаем в достоверности
своей, небытие немислимо, на ветках боги.

В СТОРОНУ ДЗЕРЖИНСКОГО САДА

Льву Дановскому

По-балетному зыбки штрихи
на чахоточном небе весеннем.
Где то время, в котором стихи
сплошь казались везеньем?

Где Дзержинский? Истории ветер
сдул его с постамента. О, скорый!
Феликс, Феликс, мой арифмометр,
мой Эдмундович хворый.

Мы с тобой по проспекту идём
между волком такси и собакой
алкаша. Дело к мартовским идам.
Ида? Что-то не помню такой.

Где Дзержинский? Решётка и ржа.
Глазированные в молочном
есть сырки, златозуба кассирша.
Отражайся в витрине плащом.

Мы идём с тобой мимо реальных
соплеменников, рифма легко
нам подыгрывает с мемориальных
досок — вот: архитектор Щуко.

Мы с тобой — те, кто станет потом
нашей памятью, мы с тобой повод,
чтобы время обратнейшим ходом
шло в стихи по поверхности вод.

Вот и пруд. Так ловись же, щуко,
и держись на крючке, чтобы ида
с леденцами за бледной щекой
розовела в прекрасности вида.

Чтобы северный ветер серов
нас не стёр, не развеял, стоящих
у моста, за которым есть остров,
нас, ещё настоящих.

С ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО

Листья мети, человек,
листья мети, безъязыкий,
где-то ты мальчик и, ловок,
скачешь верхом за рекой,

на деревянном коне
скачешь, и вырастешь странно,
будешь мести в заоконье
золото дальней страны,

ты и в костюме жених
на фотографиях, ты и
с ветром за листья в сраженьях
дни коротаешь свои,

этих людей ещё как
звали? — папаша с мамашей,
щёлкал костлявый на счётах,
словно выщёлкивал вшей,

грузная мыла полы,
юбка её колыхалась,
листья мети, невесёлый,
осени чистую грязь,

после под лестницей сядь,
двор наклонившийся залит
светом, и вычти все десять
или одиннадцать лет.

**«И сказал “Господи”,
чтобы Он мог начать...»**

* * *

После долгих пауз,
всё более долгих,
странным кажется пафос
рифм, после стольких

пауз кажется жизнь в осколках
стихов отражённой лживо,
в этих признаниях и обмолвках,
друг, не ищи поживы.

Разве опишешь,
как на кухне стоишь и дышишь,
и подносишь ко рту супа
ложку, и дуешь тупо,

разве жизни прибор и мусор,
выносимый шипящей
волной, отношение к музам
имеет, разве спящий

хочет бодрствовать, может
не надеяться: время
всё это уничтожит
вместе со всеми,

не призывать как отдых
всё уравнивший хаос,
комнат глотая воздух,
воздух глотая пауз?

* * *

Мало ли, что хрустят
тонкие кости души,
мало ли, чем объят,
слóва не напиши,

вон человек с ведром
возле помойки, вон
рыжим с небес ядром
тусклый цинк оживлён,

медно-кухонный быт,
бледно-подённый труд,
нет у меня обид,
нет и души вот тут,

вон человека шаг
лужи цветной в обход...
Господи, так всё. Так.
Господи, вот я. Вот.

РЫБА

В этой водорослями воде
перевитой мне воздуха
нет, родная, нигде,
ни полуденного, ни звёздного,

здесь, в аквариуме, в уме
повредившись, умру,
подойди на прощанье ко мне —
я, как сердце в испуге, замру.

* * *

Там, у зимы возьми
звёздного неба штольни,
истину быть детьми,
весь этот дольний

и несравненный путь...
Нынче, сквозь морок,
примешь ли что-нибудь
без оговорок?

Там залегла твоя
жизнь, остальное — опись
инея бытия,
сдутого в пропасть.

* * *

Дай бессмысленного слова нежного,
свежего, как ветвь с надломом,
связка жил древесных неизбежная
в воздухе дрожит бездомном.
Из двоих привязанность
сохранить последнему страшней,
ясный ужас ветви, темносказанность
сил, ещё пульсирующих в ней.

* * *

Пространства свежее пальто,
расстёгнутая мгла
летит в окно ночным ничто,
и хлопает пола,

и вдруг покой волосяной,
и поезд, с ночью слит,
как перед истиной самой,
перед огромной синевой
как вкопанный стоит,

тогда, дремоту отклонив,
в очнувшейся тиши,
ты будешь подлинностью жив
сырых лесов, и сонных нив,
и собственной души,

воды живые животы,
дымки ноздрей земли,
подробный ландыш темноты,
в разруб зари замри,
не зная чей вбирая взгляд,
на чей приникнув зов,

пока не тронулся назад —
полуразбег-полураспад —
грустнейший из миров

в разруб подробного замри
живых ноздрей воды
дымком и ландышем земли
зарей из темноты

летит и хлопает пола
ночным в окно ничто
пространства рвущаяся мгла
распахнуто пальто

* * *

Стол дощатый, на столе
перелистывает ветер Бытие.

Это чисто и легко —
брать дыханием парное молоко.

Больше не с кем говорить,
остаётся неподвижное — жить.

Я не знаю, ты о чём, —
бормочи, мы это после наречём.

* * *

Тёмная дорога тёмная
с белым мотыльком.
Разве здесь твоё искомое?
Никогда. Ни в этом и ни в том.

Тёмная дорога с жёлтыми
листьями о нём не говорит.
Едкой плотью яблоко тяжёлое
только изнутри себя творит.

Только пробирая до оскомины,
смыслы прорастают, как плющи,
всей дрожью тёмного искомого.
Где не надо — там и отыщи.

Нет ему лица, оно отвержено,
но и вспыхнет яблоком во тьму
будущего слова свет, процеженный
дебрями растущего к нему.

* * *

О, вечереет, чернеет, звереет река,
рвёт свои когти отсюда, болят берега,
осень за горло берёт и сжимает рука,
пуст гардероб, ни единого в нём номерка.

О, вечереет, сыреет платформа, сорит
урнами праха, короткие смерчи творит,
курит кассир, с пассажиркою поздней острит,
улица имя теряет, становится стрит.

Я на другом полушарии шарю, ища
центы, в обширных, как скука, провалах плаща,
эта страна мне не впору, с другого плеча, —
впрочем, без разницы, если сказать сгоряча.

Разве поверхность почище, но тот же подбой,
та же истерика поезда, я не слепой,
лучше не быть совершенно, чем быть не с тобой.
Жизнь — это крах философии. Самой. Любой.

То ли в окне, как в прорехе осеннего дня,
дремлет старик, прохудившийся корпус креня,
то ли ребёнка замучила скрипкой родня,
то ли захлопнулась дверь и не стало меня.

* * *

Я возьму светящийся той зимы квадрат
(вроде фосфорного осколка
в чёрной комнате, где ночует ёлка),
непомерных для нашей зарплаты трат,
я возьму в слабеющей лампе бедный быт
(меж паркетинами иголка),
дольше нашего — только чувство долга,
Богом, радуйся горю, ты не забыт.

Близко, близко поднесу я к глазам окно
с крестовиной, упавшей тенью
на соседний дом, никогда забвенью
поглотить этот жёлтый свет не дано.
И лица твоего я увижу овал,
руку с лёгкой в изгибе ленью,
отстранившую книгу, — куда там чтенью,
подниматься так рано, провал, провал.

Крики пьяных двора или кирзовый скрип,
торопящийся в свою роту,
подберу в подворотне, подобной гроту,
ледяное возьму я мерцанье глыб,
со вчера заваренный я возьму рассвет
в кухне... Стало быть, на работу...
Отоспимся, радость моя, в субботу.
Долго нет её, долго субботы нет.

А когда полярная нас укроет ночь
офицерской вполне шинелью,
и когда потянется к рукоделью
снег в кругах фонарей, и проснётся дочь,
испугавшись за нас, — помнишь пламенный труд
быть младенцем? — то, канителью
над её крахмальной склонясь постелью,
вдруг наступят праздники и всё спасут.

* * *

Я посвящу тебе лестниц волчки,
я посвечу тебе там,
сдунуло рукопись ветром, клочки
с древа летят по пятам,

в лестницах, как в мясорубках, кружа,
я посвящу тебе нить
той паутины, с которой душа
любит паучья дружить,

лестниц волчки, или власти тычки,
крик обезьян за стеной,
или оркестра косые смычки
марш зарядят проливной,

гостя, за маршем берущего марш,
я посещу ту страну,
где размололи не хуже, чем фарш,
слабую жизнь не одну,

вешалок по коридору крючки,
я посвечу тебе в нём,
на два осколка разбившись, в зрачки
неба упавший объём,

надо бумагу до дыр протереть,
чтобы и лист, как листва,
мог от избытка себя умереть,
свет излучив существа.

* * *

Озера грудной разрыв.
Белок горловых комки.
Ветра мысль недоразвив,
стихло дерево. Ни зги.

Дымная навывлет хлябь.
Обморочный ночи рост.
Рёбрами худеет рябь
в кварцевом продроге звёзд.

Речью я протру глаза.
Гóре больше нечем крыть.
Вижу, что уже нельзя
видеть и не полюбить.

* * *

Долгие цедаются осени поздней часы,
чаша дежурств опрокинутым небом ночных,
помыслов нет никаких, потому и чисты,
чище забытого запаха лилий речных,

тесных маячат бытовок моих поплавки,
сдавшихся строем деревьев знамёна сожгли,
крышка бренчит фонаря, отмеряя кивки,
дышат олени, вплотную к реке подошли,

вот прозябанье счастливое, так прозяять
треть своей жизни — я даже в уме не держал,
где ты идёшь в эту пору, мне лучше не знать,
вахтенный цифрами я заполняю журнал,

ты, вдохновенье, меня поднимай из золы,
нет, не она — мне дороже волненье о ней,
слышу, как ветер колеблет и гонит валы,
звёздное вижу я столпотворенье огней,

ты поднимай, вдохновенье, меня, поднимай,
выпадом звука внезапного опереди,
не принимай моей пошлости, не понимай
всей этой осени, вырвавшейся из груди.

* * *

Одичалых одиночек мало ли,
тех, что прорастали в толщу почвы,
стены, как в рапиде, шли обвалами,
человеческой хотел я почты.

Прах отсутствий сплавливал до тяжести,
воздуха прочитывая сгустки,
и вживлял, как дерево, в пейзажи те
свой состав заклатьем речи устной.

Или кровь искала выход порами,
тычась, как в мешке ещё живое,
гибнущее там, между опорами,
под мостом, заглывая вой.

Не сбылось — на то оно пророчество.
Чудо воплощённое — не чудо.
Всё как есть оставь, я одиночество
в плоть вопью и голосом побуду.

* * *

Тому семнадцать, как хожу кругами
вокруг постов своих сторожевых
над реками, семнадцать берегами
я лет хожу в пространствах нежилых,
дыханием моим за стадионом
отопленных, с футбольною землёй,
раскомканной, под воздухом бездонным
всё началось, кипящею смолой
на дальних пустырях, с теней в бушлатах,
с вагончиков отцепленных, тому
назад семнадцать, с вечера поддатых,
смурных и сократившихся до СМУ
с утра, когда, бредя с автостоянки,
я согревался начатым в глухом
углу одной бытовки у жестянки
с окурками спасительным стихом,
продолженным в заснеженных колоннах
Елагина на шатком топчане,
среди котлов, на угле раскалённых,
волчат огня, в своей величине
разогнанных до высыпавшей стаи
шипенья на рождественском снегу,
семнадцать, как губерния пустая
пошла и пишет через не могу
раскуренным стихом на финском фоне,
над мёртвой рыбой с фосфором из глаз,
в другой бытовке скуку на Гудзоне
развевшим и конченным сейчас.

* * *

Трезвые наступают дни.
Точно спиртовок горят огни.
То на востоке взошла звезда.
Я не могу не смотреть туда.

В церкви сегодня поют с утра.
В путь собрались те, кому пора.
Вышли — и светом глаза прожгло.
Римское воинство снега шло.

Ясные наступают дни.
Пусть одиноки, но не одни.
Точно прильнули к доске дверной, —
так только может молчать живой.

* * *

Остановка над дымной Невой,
замерзающей, дымной,
чёрный холод зимы огневой —
за пустые труды мне,

хищно выгнут Елагин хребет,
фонари его дыбом,
за пустые труды этот бред
в уши вышептан рыбакам,

за гранёный стакан на плаву
ресторана «Приморский»,
за блатную его татарву
в мерзкой слякоти мёрзкой,

то ль нагар на сыром фитиле,
то ли почва паскудна,
то ли небо сидит на игле
третий век беспробудно,

в порошок снеговой ли сотрут
этот город ледащий
за пустой огнедышащий труд,
в ту трубу вылетавший,

или «нет» говори, или «да»,
Инеадой вдоль древа,
чёрной сваей за стёклами льда,
вбитой в грудь мою слева.

ЛЬВУ ДАНОВСКОМУ

Я пью за немногих, но верных...

Кн. Пётр Вяземский

За хмельной, предвоскресный
вечер, город окрест,
за «Вакхической песни»
просветительский жест,

за сиденье по кухням,
за январь на дворе,
за «Дубинушка, ухнем...»
у соседа в норе,

за жильё по лимиту,
за бессмертный, навек
в жёлтом доме зарытый
твой талант, имярек,

за поэта — не волка,
за спокойный рассказ
той, которую долго
Бог спасал, но не спас,

за любовь, что косила,
приручая враньё,
за внезапную силу
обойтись без неё,

за платформу на Лахте,
электрички огни,
за пустые на вахте
мои ночи и дни,

за спустившийся наземь
снег окраины всей,
как завещано князем,
за немногих друзей.

* * *

Господи, в комнату вошёл в семь часов,
в сумеречное осенью время дня,
прислонился, рифмою заперся на засов,
пустота обнюхала в дверях меня

и уползла туда, где нет ни души,
снял ботинки, сделал три шага, лёг,
что-то подумал, вроде «фонарь туши»,
но не горел он, и разобрать не смог,

в сон проваливаясь почти,
абсолютно проснулся, открыл глаза —
пустота ли пробовала вползти
снова в комнату и устроить в ней чудеса

(то есть зеркало, кресло устроить, шкаф, —
без свидетелей; то есть когда с вещей
имена, снимаясь, гуськом в рукав
улетают, в отдельный рукав ничей) —

или жара младенческого донёсся шип
и вращение одновременно ста
чёрных дисков с глазами уснувших рыб,
и душа безвидна была и пуста, —

потянулся к лампе, чтобы глагол «зажечь»
промелькнул в уме и осветил тетрадь,
и открыл тетрадь, чтобы возникла речь,
и сказал «Господи», чтобы Он мог начать.

* * *

Лучшее время — в потёмках
утра, после ночной
смены, окно в потёках,
краткий уют ручной.

Вот остановка мира,
поршней его, цепей.
Лучшее место — квартира.
Крепкого чая попей.

Мне никто не поможет
жизнь свою превозмочь.
Лучшее, что я видел —
это спящая дочь.

Лучшее, что я слышал —
как сквозь сон говоришь:
«Ты кочегаркой пахнешь...» —
и наступает тишь.

* * *

Мост с пятого мне этажа,
за ним ещё один запомнить,
пространство больше, чем душа,
болящая его заполнить,

шпиль солнца пылью золочён,
бухгалтерские счёты Биржи
стоят ребром, стоят плечом
к плечу дома, ничто не ближе

тебя, мы в воздухе одном,
тебя, на что оно без слова,
пространство, данное вверх дном
в реке для пущего улова,

поэтому так разрастись,
как свет, себя переполняя,
идёт, как если бы он вниз
шёл, большой свет припоминая,

а мыслимое всё, тобой
став и озвучив, словом то есть,
как рыба с порванной губой,
срывалось бы, на миг удвоясь.

* * *

Открой окно, ползущего червя
услышь в траве — извилистый, сырой,
своим подземным помыслом черня
ещё сильнее ночь, — открой, открой,
открой огонь чердачный ночевья

ему навстречу, — медленный, ползёт,
готовя для трагедий черепа.
Открой, вбирай глазами — парой сот —
мёд бытия: шевелится тропа,
когтит добычу хищный небосвод,

и ты невероятно жив, раз ты
забыт, разлюблен иль приговорён
болезнью, и, ценитель наготы,
пирует червь, и ночь со всех сторон,
и мотыльки, как маленькие рты,

лопочут: «Прах», слетаясь с похорон.

* * *

...и сосны, как церковный хор, стоят,
и хвойный воздух сух, и мёртвым спится,
как будто впрямь они сестра и брат
и до сих пор не могут разлучиться.

Скажи мне, где любовь среди утрат?
Во что она могла пресуществиться?

Не знаю где. Но разве ты не рад
и книга пред тобою не раскрыта?
Тогда читай: вот Айн, вот Маргарита...

Я ухожу к заливу, зыбких нив
минуя золотистые колосья,
и, руки под землёй соединив,
они идут за мною на обрыв,
и волн морских растёт многоголосье.

* * *

В бронхах это хрипит Бронкса
поезд метро, кренясь,
это закатная залита в лица бронза,
это жилья в разбросах
зоологических рёбер горит каркас,

это в поте лица пятниц
скарб, маскарад, огни,
пряные это дымки и закуты пьяниц,
просят, но как-то пятясь,
спи, — бормочу, сторонясь, — мой беби, усни,

мусор это рябит, синий
вечер оставит в стол
тяжкие локти, засмотрится ли разиня —
от корзины к корзине
всё мускулистый колышется баскетбол,

спи, мой беби, усни сладко,
спи не как человек, —
то ему пир приснится горою, то свалка,
всякое зрелище жалко,
если его к Рождеству не засыпет снег.

* * *

Чудной жизни стволы,
чудной жизни извилистой
не увидишь, сгорев до золы,
зелень, зелень сквози листвы,

лягушачий твой пульс
тонкой ветвью височною
замедляясь в согласных — «ветвлюсь» —
говорит и, высь точную

в гласных бегло явив,
нотной тенью пятнистою
по земле пробегает, прилив
света в запись втянись мою,

без остатка втянись,
чтоб не знали о пролитом
дне ушедшие намертво вниз,
чтоб не ведали боли там,

равной тленья крупиц
тяге — смерти перечашей —
тяге: зыблемый воздух границ
зреньем вспять пересечь ещё.

* * *

Свободней говори, пожалуйста,
вот так, вслепую, наизусть,
хребтом уходит рыбьим шпалистый
трамвайный пусть,

трамвайным пустится, не сетуя,
пусть бесподобная душа,
по снегу тающему спетая
в сердцах, левша,

пылает вдаль Красноармейская,
желтеет, слухом отлови,
как речь густая, арамейская
живёт в крови,

желтеет на углу, пульсирует,
увязан в сноп собор как есть,
и между ним и мной курсирует
сквозная весть,

сквозная ветвь, сюда и метили,
когда дыханием зажглись...
Теперь ты не боишься смерти ли?
Свободней, жизнь.

**«Увижу біблію песка
до горизонता...»**

УТРЕННИЙ МОТИВ

На асфальте мечется
мышь, кыш, мышь,
сторож это, сменщица,
мусорщик, малыш,

семенит цветочница,
шарк, шурк, шарк,
точность мира точнится,
в арках аркнет арк,

взрыв бенгальский сварщика,
сверк, сварк, сверк,
голубого росчерка
меркнуть медлит мерк,

лётся, не артачится
свят свет свит,
тачка утра тачится,
почтальон почтит,

Чарли это брючится,
блажь, мышь, блажь,
ночь в чернилах учится
небу тихих чаш,

пусть проходят где-нибудь,
клёш крыш клёш,
душу учит небо ведь
простираться сплошь.

* * *

На что мой взгляд ни упадёт,
то станет в мир впечатлено.
Отёчный свет аптек придёт
из переулочных темно.

За ним туманный гомон бань,
где пухнет матовая мгла
и в гардеробе горбит брань
худую спину из горла.

За ним убожество больниц,
где выдыхают жизнь плашмя,
или иконы бледных лиц
глядят, как мать сидит кормя.

Пусть известковых стен подъезд
и подворотни грубый грот
дырявят плоскость этих мест —
на чёрный день есть чёрный ход

и есть материя стиха,
когда выныриваешь вдруг
на ленинградские снега.
Бери. Они из первых рук.

ШАХМАТЫ (подстрочник)

Лакированная шахматная доска.
Аппетитный грохоток высыпанных фигур.
Взмах клетчатых крыльев —
и квадратная бабочка опускается на стол.
В двух кулачках прячется первый ход,
который тебе не нужен, но достаются белые.
Робкое движение крайней пешки.
Так не ходят, переходи. И ты ступаешь как все.
Едва ступаешь, но ступаешь. Едва.
«Дебют четырёх коней» и «Сицилианская защита»
запоминаются благодаря гордому звуку,
но не далее примерно пятого хода.
А далее — ты начинаешь зевать и посматривать за окно,
думая: плевать,
и учишься сдерживать слёзы
и примиряться со своей бездарностью.
(Позже, когда тебя пытаются поймать на зевке, —
ты становишься подозрительным.
И более искусным.
Хорошая игра требует дурного характера,
и только когда попадается партнёр слабее тебя,
ты понимаешь, что всё-таки лучше быть побеждённым,
чем видеть его.)
Итак, ты учишься любить фигуры бескорыстно,
за их устойчивую красоту, не за намерение:
диагонально-хищный взгляд офицера на ладью
или выпрыг коня на развилку двух

разлучающих навсегда королевскую чету
дорог.

В отчаянии ты пытаешься рокироваться,
но — так не ходят,

и ты чувствуешь то же, что твой король,
пересекающий битое поле, —
не только животный ужас, но и стыд.

Однако безнадежность позиции освобождает
и можно безоглядно проигрывать, не пережаживая.

К тому же в эндшпиле, до которого
голый король чудом доплёлся, —
просторней,

и ты спокойно наблюдаешь,
как жадно толпящиеся фигуры противника
забивают в доску гвозди,
как они беспорядочно выскакивают с шахом,
надеясь, что — вот он! — последний удар, —
наблюдаешь

без снисходительной улыбки и не сдаваясь,
но — с удивлением:

видя, что противник, совершенно растерявшись
от множества вариантов,

проводит пешки — одну за другой — в ферзи
и что ты проигрываешь не в результате красивой комбинации,
но просто от истеричного перенаселения доски
чёрными фигурами.

Ни благородный победитель,
который не смотрит тебе в глаза,
ни торжествующий дурак,
предлагающий сыграть ещё,

тебя не волнуют —
ты, на правах проигравшего, собираешь фигуры,
поверженные, лишённые
живого предвкушения игры,
и думаешь, застёгивая гробик на железный крючок,
что всё справедливо:
ведь ты играл если и с любовью,
то — к пейзажу за окном,
к тому идеальному полю для поражений
(в пределе — кладбищу),
где победитель не задерживается.

* * *

Хочешь, всё переберу,
вечером начну — закончу
в рифму: стало быть, к утру.
Утончу, где надо тонче.

Муфта лисья и каракуль,
в ботах хлюпает вода,
мало видел, много плакал,
всё запомнил навсегда.

Заходи за мной пораньше,
никогда не умирай.
Не умрёшь? Не умирай же.
Нежных слов не умеряй.

Я термометр под мышкой
буду искренне держать,
под малиновою вспышкой
то дышать, то не дышать.

Человек оттуда родом,
где пчелиным лечат мёдом,
прижигают ранку йодом,
где на плечиках печаль,
а по праздникам хрусталь.
Что ты ищешь под комодом?
Бьют куранты. С Новым годом.
Жаль отца и маму жаль.

Хочешь, размотаю узел,
затянул — не развязать.
Сколько помню, слова трусил,
слова трусил не сказать.

Фонарей золоторунный
вечер, путь по снегу санный,
день продлённый, мир подлунный,
лов подлёдный, осиянный.

Ленка Зыкова. Каток.
Дрожь укутана в платок.

Помнишь, девочкой на взморье,
только-только после кори,
ты острижена под ноль
и стыдишься? Помнишь боль?

А потом приходят гости.
Вишни, яблоки, хурма,
винограда грузны гроздья,
нет ни зависти, ни злости,
жизнь не в долг, а задарма.
После месяцев болезни
ты спускаешься к гостям —
что на свете бесполезней
счастья, узнанного там?

Чай с ореховым вареньем.
За прозрачной скорлупой
со своим стихотвореньем
кто-то тычется слепой.

Это, может быть, предвестье
нашей встречи зимним днём.
Человек бывает вместе.
Всё приму, а если двести
грамм — приму и в виде мести
смерть, задуманную в нём.

Наступает утро. Утро —
хочешь в рифму? — это мудро,
потому что можно лечь
и забыть родную речь.

ЭМИГРАНТСКОЕ

День окончен. Супермаркет,
мёртвым светом залитой.
Подворотня тьмою каркнет.
Ключ блеснёт незолотой.

То-то. Счастья не награбишь.
Разве выпадет в лото.
Это билдинг, это гарбидж,
это, в сущности, ничто.

Отопри свою квартиру.
Прислонись душой к стене.
Ты не нужен больше миру.
Рыбка плавает на дне.

Превращенье фрукта в овощ.
Середина ноября.
Кто-нибудь, приди на помощь,
дай нюхнуть нашатыря.

По тропинке проторённой —
раз, два, три, четыре, пять —
тихий, малоодарённый
человек уходит спать.

То ль Кармен какую режут
в эти поздние часы,
то ль, ворьё почуяв, брешут
припаркованные псы.

Край оборванный конверта.
Край, не обжитый тобой,
с завезённой из Пуэрто-
Рико музыкой тупой.

Спи, поэт, ты сам несносен.
Убаюкивай свой страх.
Это билдингская осень
в тёмно-бронксовых лесах.

Это птичка «фифти-фифти»
поутру поёт одна.
Это поднятая в лифте
нежилая желтизна.

Рванью полиэтилена
бес кружит по мостовой.
Жизнь конечна. Смерть нетленна.
Воздух дрожи мозговой.

* * *

Вадиму Месяцу

Я жил в чужих домах неприбранных,
где лучше было свет гасить,
чем зажигать, и с этих выдранных
страниц мне некому грозить.

К тому же тех, что под обложкою,
страниц — и не было почти.
Ложился лунною дорожкой
свет ночи, сбившийся с пути,

свет ночи, пылью дома траченный,
ложился на пол, а прикрыв
глаза, я видел негра в прачечной —
он спал под блоковский мотив.

Казалось, сон ему не нравится,
а свет тем более не мил,
и если то, с чем надо справиться,
есть жизнь, то он не победил.

Я шёл испанскими кварталами,
где над верёвкой бельевой
и человеками усталыми
маячил мяч полуживой.

И в окнах фабрики, как водится —
полузаброшенной, закат
искал себя, чтобы удвоиться,
и уходил ни с чем назад.

Всё было выбито, измаяно.
Стояла Почта, дом без черт,
где я, как верный пёс — хозяина,
порой облизывал конверт.

В тех городках, где жить не следует,
где в жаркий полдень страховой
агент при галстукe обедает
с сотрудницей не роковой,

в тех городках, что лучше смотрятся
проездом, бегло, как дневник,
в который, любят в нём иль ссорятся —
не важно, ты не слишком вник, —

чем становилось там дождливее,
тем неуверенней я знал,
что всё могло быть и счастливее.
Но не было, как я сказал.

ПАРТИТУРА БРОНКСА

выдвиньте меня в луч солнечный
дети разбрелись по свету сволочи
дай-ка на газету мелочи

развелось в районе чёрной нечисти
ноют как перед дождём конечности
что здесь хорошо свобода личности

нет я вам скажу товарищи
что она такие варит щи
цвет хороший но немного старящий

он икру поставит чтоб могла жевать
каждый будет сам себе налаживать
я прямая не умею сглаживать

как ни встречу все наружу прелести
в пятницу смотрю пропали челюсти
тихие деревья в тихом шелесте

тихие деревья среди сволочи
в щях луч золотится солнечный
развелось в районе чёрной мелочи

нет я вам скажу от нечисти
я прямая разбрелись конечности
цвет хороший но немного личности

он икру поставит чтоб товарищи
как перед дождём такие варит щи
как ни встречу все наружу старящий

дети разбрелись но чтоб могла жевать
дай-ка на газету сам налаживать
что здесь хорошо умею сглаживать

выдвиньте меня наружу прелести
каждый будет сам пропали челюсти
тихие деревья в тихом шелесте

БАЛЛАДА ПО УХОДУ

Шёл, шёл дождь, я приехал на их,
я приехал на улицу их, на их,
всё друг друга оплакивало в огневых.

Мне открыла старая в парике,
отраженьем беглым, рике, рике,
мы по пояс в зеркале, как в реке.

Муж в халате полураспахнутым,
то глазами хлопнет, то ахнет ртом,
прахом пахнет, мочой, ведром.

Трое замерли мы, по стенам часы шуршат.
Сколько времени! — вот чего нас лишат:
золотушной армии тикающих мышат.

Сел в качалку полуоткрытый рот,
и парик отправился в спальный грот.
Тело к старости провоняет, потом умрёт.

О бессмысленности пой песню, пой,
я сиделка на ночь твоя, тупой,
делка, аноч, воя, упой.

То обхватит голову, то ковырнёт в ноздре,
пахом прахнет, мочой в ведре,
из дыры ты вывалился, здыры ты опять в дыре.

Свесив уши пыльные, телефон молчит,
пересохший шнур за собой влачит,
на углу стола таракан торчит.

На портретах предки так выцвели, что уже
не по разу умерли, но по два уже,
из одной в другую смерть перешли уже.

Пой тоскливую песню, пой, а потом среди
надевай-ка ночи носок и себя ряди
в человеческое. Куда ты, старик? Сиди.

Он в подтяжках путается, в штанинах брюк,
он в поход собрался. Старик, zurück!
Он забыл английский, немец, тебе каюк.

Schlecht, мой пекарь бывший, ты спёкся сам.
Для бардачных подвигов и внебрачных дам
не годишься, ухахь, не по годам.

Он ещё платочек повяжет на шею, но
вдруг замрёт, устанет, и станет ему темно,
тянет, тянет, утягивает на дно.

Шёл, шёл дождь, я приехал к ним,
чтоб присматривать, ним, ним, ним,
за одним из них, аноним.

Жизнь, в её завершении, хочет так,
чтобы я, свидетель и ей не враг,
ахнул — дескать, абсурд и мрак!

Что ж, подыгрываю, пой песню, пой,
но уж раз напрашивается такой
вывод — делать его на кой?

Leben, Бог не задумал тебя тобой.

ОДИНОЧЕСТВО В ПОКИПСИ

Какой-нибудь невзрачный бар.
Бильярдная. Гоняют шар.
Один из варваров в мишень
швыряет дротик. Зимний день.

По стенам хвойные венки.
На сердце тоненькой тоски
дрожит предпраздничный ледок.
Глоток вина. Ещё глоток.

Те двое — в сущности, сырьё
для человечества — сейчас
заплатят каждый за своё
и выйдут, в шкуры облачась.

Звезда хоккея порет чушь
по телевизору. Он муж
и посвящает гол семье.
Его фамилия Лемье.

Тебя? Конечно, не виню.
Куда он смотрит? Впрочем, пусть
всё, что начертано в меню,
заучивает наизусть.

В раскопах будущей братвы
найдут залапанный предмет:
Евангелие от Жратвы —
гурманских рукописей бред.

И если расставаться, то
врагами, чтобы не жалеть.
Чтоб жалости не знать! Пальто!
Калоши! Зонтик! Умереть!

* * *

Увижу библию песка до горизонта,
в удушьё шпалы креозота,
зелёного солдата гарнизона —
лакает молоко и сдобу с маком
жрёт, шмыгая, под Мангышлаком.

Увижу: кочегар выносит шлак
в горячих вёдрах —
откос, его рифлёный шаг
и майка блеклая на рёбрах.

Навеки стой, солдат, и прижимай к груди,
давясь, продолговато-белое,
и в сапогах несоразмерных так иди,
мгновенный кочегар. Вы мозг. Вы целое.

Будь, воздух голубей,
испуганно взметённых,
ещё гораздо голубей.
Я слышу развлеченья крик: «Убей!» —
и ловят их, с ума сведённых.

Гори, песок, гори, песок проезжий,
пусть жажда разевает рот,
скрежещет тамбур, в законной бреши
сын стрелочницы, рахитичный, рыжий,
глаза, два кулачка зажмутив, трёт.

О, если у состава есть сустав,
он, перебитый, крикнет: «Кокчетав!»

Есть имена — не имена, а натиск.
В палящем солнце есть Семипалатинск.

Есть рабский труд и два карьера глаз,
две достоевских впадины добычи
страдания, цепей оскал и лязг,
впряжённый труд в виски и скулы бычий.

Есть Гурьев, Астрахань, дизентерия.
Больница на отшибе в засухе.
Есть у цыганки жизнь за пазухой.
Корми, кормящая. Ты навсегда Мария.

Странней, зернистая страница, азбукой.

ПРОЕЗЖАЯ ПЕСЕНКА

О поезд, змеечкой
червячь пространство,
люблю умнеющей
поры убранство.

Нью-Йорк, ньюйорочка,
урод с уродцем
и дура с дурочкой
летят под солнцем.

Щенок и нищенка,
и тут же тень их, —
не прогони щенка,
а ей дай денег.

И всё, и выбросись
в окно, и в бездне
сначала выразишь,
потом исчезни.

ВСПОМИНАЯ ПАСТЕРНАКА

Гудящий зерноток.
Из пыли и зерна
ты выйдешь видеть толк,
с каким опылена

созвездьями Земля,
как яблоки висят
и, кислотой спая,
зелёным белят сад.

Но тень свою шатнёшь,
и в черноту шагнёшь,
и тишину сроднишь
с собою, и сравнишь:

как замшей камышей
ночной покой обит, —
мышление мышей
в мешках пшеницы спит.

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Пусть это будет Джанкой,
дай ей двух дочерей
и купейный покой
с фокусами фонарей,

циркульный их обскок
тенью вокруг себя,
словно бы вырван клочок
шерсти ночной, скуля,

сиплого пара вверх
краткий двойной отрыв,
дай мне сказать за них,
ничего не забыв,

с верхней ей полки дай
редкофигурных свет
серых платформ — он рай
зренья, другого нет,

трогательный тот лязг,
тамбур дырявых драм,
дай материнских ласк
малым двум дочерям.

Пахнет гарью трава
где-то на рубеже
горя, и рукава
снайпер закатывает уже.

ПАМЯТИ Л.

С трамвайного поползновения
(скрипи, постскриптум
к минувшему) начни забвение.
Пройдись по скрытным.

Хождение за послешкольные
междугаражные
моря, за чистые, безвольные,
за слёзы влажные.

Вдоль Карповки, с одной извилиной,
не смуглый отрок,
с тоской, поныне не осиленной,
в поту увёрток,

отвёрток, шкурок, штангенциркулей,
наук запущенных,
тех бледных дней, не под копирку ли
в тираж запущенных.

Но прерванных. По скрытным, огненным
путям сердечным —
к домам погасшим, обезокненным
и быстротечным,

всё дальше от тебя, оставшейся
в весенней прелости
земли, в земле, — тебя, предавшей
недетской зрелости.

Кем ты была и кем отозвана,
о чём ты молишь
там, где тебя коснуться косвенно
могу всего лишь?

Что означает это воинство,
чью суть бесплотную
сознание трактует двойственно:
как перелётную?

И так ли ты обеспокоена
земным, вне дома,
что притяжением, раздвоена,
назад влекома?

Твоё исчезновенье раннее
всё безответнее.
Что для тебя здесь-небывание
сорокалетнее?

Случается ли так, что ангелы
сгорают в верхних
слоях, и свет — не их останки ли
в низинах вербных

и гаснущих, когда из тысячи
один упрямится
сгорать? С тобой свои черты слича,
пусть пламя пламится.

Чем занят смертный человек? — мирским
и занят: фетиш
его — звездою над Аптекарским
горит. Ты светишь.

* * *

В полях инстинкта, искренних, как щит
ползущей черепахи, тот,
что сценами троянских битв расшит,
не щит, так свод,
землетрясеньем стиснутый, иль вид
исходных вод,

в полях секундных, заячьих, среди
не разума и не любви,
но жизни жаб, раздувшихся в груди,
травы в крови
расклёванной добычи впереди, —
живи, живи.

Часторастущий, тыщий, трущий глаз
прохожему осенний лес, —
вот клёкот на его сквозной каркас
летит с небес,
вот некий профиль в нём полудивясь
полуисчез.

Небесносенний, сенный, острый дух
сыреющий стоит в краях,
где розовый олень, являя слух,
в котором страх
с величьем, предпочтёт одно из двух,
и значит — взмах

исчезновенья, как бы за экран,
сомкнувшийся за ним, и в нём
вся будущая кровь смертельных ран
горит огнём,
когда, горизонтально выгнув стан,
он станет сном.

Темнеет. Натянув на темя плед,
прощальный выпростает луч,
как пятку, солнце, и погаснет след
в развалах туч.
Рождай богов, сознание, им свет
ссужай, не мучь

себя, ты без богов не можешь — лги,
их щедро снарядив. Потом,
всесильные, вернут тебе долги
в тельце литом.
Трактуй змею, в шнуре её ни зги.
Или Содом.

Сознание, твой раб теперь богат,
с прогулки возвратясь и дар
последний обрета, пусть дом объят
(ужель пожар?)
сплошь пламенем, все умерли подряд,
и сам он стар.

МАРИЯ МАГДАЛИНА

Вот она идёт — вся выпуклая,
крашенная, а сама прямая,
груды высоко несёт, как выпекла, и
нехотя так, искоса глядит, и пряная.

Всё её захочет, даже изгородь
или столб фонарный, мы подростками
за деревьями стоямя стоим, на исповедь
пригодится похоть с мокрыми отростками.

Платье к бёдрам липнет — что ни шаг её.
Шепелявая старуха, шаркая,
из дому напротив выйдет, шавкою
взбеленится: «Сука, — шамкнет, — сука жаркая!»

Много я не видел, но десятка два
видел, под её порою окнами
ночью прячась, я рыдал от сладкого
шёпота их, стона, счастья потного.

Вот чего не помню — осуждения.
Только взрослый в зависти обрушится
на другого, потому что где не я,
думает, там мерзость обнаружится.

В ней любовь была. Но как-то страннику
говорит: «Пойдём. Чем здесь ворочаться —
лучше дома. Я люблю тебя. А раненько
поутру уйдёшь, хоть не захочется».

Я не понял слов его, мол, опыту
не дано любовь узнать — дано проточному
воздуху, а ты, мол, в землю вкопана
не любовью — жалостью к непрочному.

А потом она исчезла. Господи,
да и мы на все четыре стороны
разбрелись, на все четыре стороны,
и ни исповеди, ни любви, ни жалости.

ДИПТИХ

1

Две руки, как две реки,
так ребёнка обнимают,
словно бы в него впадают.
Очертания легки.

Лишь склонённость головы
над припухлостью младенца —
розовеет остров тельца
в складках тёмной синевы.

В детских ручках виноград,
миг себя сиюминутней,
два фруктовых среза — лютни
золотистых ангелят.

Утро раннее двоих
флорентийское находит,
виноград ещё не бродит
уксусом у губ Твоих.

Живописец, ты мне друг?
Не отнимешь винограда? —
и со дна всплывает взгляда
испытующий испуг.

2

Тук-тук-тук, молоток-молоточек,
чья-то белая держит платок,
кровь из трёх кровото́чащих точек
разматывает Его как моток,

тук-тук-тук входит нехотя в мякоть,
в брус зато хорошо, с вкусной,
всё увидеть, что есть, и оплакать
под восставшей Его высотой,

чей-то профиль горит в капюшоне,
под ребром, чуть колеблясь, копьё
застывает в заколотом стоне,
и чернеет на бёдрах тряпье,

жизнь уходит, в себя удаляясь,
и, вертясь, как в воронке, за ней
исчезает, вином утоляясь,
многоротовое счастье людей,

только что ещё конская грива
развевалась, на солнце блестя,
а теперь и она некрасива,
праздник кончен, тоскует дитя.

РАСПЯТИЕ

Что ещё так может длиться,
ни на чём держась, держаться?
Тела кровная теплица,
я хотел тебя дождаться,

чтоб теперь, когда устало
ты и мышцею не двинуть,
мне безмерных сил достало
самого себя покинуть.

ДЕРЕВО

Алле

Как дерево, стоящее поодаль,
как в неподвижном дереве укор
тебе (твоя отвязанность — свобода ль?)
читается (не слишком ли ты скор?),
как почерк, что, летя во весь опор,

встал на дыбы, возницей остановлен,
на вдохе, в закипании кровей,
на поле битвы-графики ветвей,
как сеть, когда, казалось бы, отловлен,
но выпущен на волю ветер (вей!),

как дерево, как будто это снимок
извилин Бога, дерево, во всём
молчащем потрясении своём,
как замысел, который насмерть вымок,
промок, пропах землёй, как птичий дом

со взрывом стаи глаз, как разоренье
простора, с наведённым на него
стволом, как изумительное зренье,
как первый и последний день творенья,
когда не надо больше ничего.

ВЕЩЬ В ДВУХ ЧАСТЯХ

1

Обступим вещь как инобытиё.
Кто ты, недышащая?
Твое темьё,
твоё темьё, меня колышущее.

Шумел-камышашее. Я не пил.
Всё истинное — незаконно.
А ты, мой падающий, где ты был,
снижающийся заочно?

Где? В Падуе? В Капелле дель
Арена?
Во сне Иоакима синеве ль
ты шёл смиренно?

Себя не знает вещь сама
и ждёт, когда я
бы выскочил весь из ума,
бывыскочил, в себе светая
быстрее, чем темнеет тьма.

2

Шарфа примененье нежное
озаряет мне мозги.
Город мой, зима крошечная,
не видать в окне ни зги.

Выйдем, шарф, укутай горло и
рот мой дышащий прикрой,
пламя воздуха прогорклое
с обмороженной корой

станет синевой надречною,
дальним отблеском строки,
в город высвободив встречную
смелость шарфа и руки.

ХУДОЖНИК

Анатолию Заславскому

1

С Колокольной трамвай накренится
к преступившему контуры дому.
Всё в наклоне вещей коренится,
в пронизательной тяге к разлому.

Там прозрачные люди плащами
полюхнут над асфальтовой лужей,
и, сомкнувшись у них за плечами,
воздух станет всей улицей уже,

и прикурит в привычном продроге
человек, на мгновенье пригодный
дар свободы от всех психологий
воспринять как художник свободный.

2

Кто сказал, что мир настоящий?
Да, темнело-светало,
но лишь неправильностью цветущей
можно поправить дело.

Видел я, как вращается шина,
видел дом кирпичный,
их уродство было бы совершенно,
если бы не мой взгляд невзрачный.

Я стою на краю тротуара
в декабрьском дне года,
слыша песню другого хора, —
кривизною звука она богата.

Нет в ней чувств-умилений,
есть окурок, солнце, маляр в извёстке,
в драматичной плоскости линий
сухожилия-связки.

ВАРИАНТ МЕДЕИ

Песенку бубнит придурковатая,
голова болит продолговатая.
— Где ты так сошла с ума? —
— Я-то? — Ты-то. — Я-то? — Ты-то. — Я-то? Я
не знаю сама.

— Слушай, слушай, входит папа в комнату,
в тёмную такую, смотрит томно в ту
сторону, где я лежу,
на себя гляжу я, папой обняту,
и в страхе дрожу.

— Что ты тут такое, папа, делаешь
с девою, со мной? Ты, папа, деву ешь. —
Жадно бедненький сопит:
— Ты мне, — отвечает, — только тело нежь, —
засыпает, сыт.

Дурочка гундосит свою песенку,
песенку свою гундосит плесенку,
в сумке роется, со дна
достаёт цветную бесполезенку,
красится, бледна.

— Слушай, слушай, женихов невиданно
мама нагнала, ведь я на выданье,
а она, ворожея,
всё колдует, чтобы выдать выгодней,
сама не своя.

— И загадку жениху, мол, кто, мол, та,
что жена и дочь отцу, — и молодо
нам подмигивает так, —
а не отгадаешь, мол, размолота
твоя жисть, дурак.

К рюмке с ядовитым зельем тянется,
а в глазах гуляет-пляшет пьянь отца.
— Где ты так сошла с ума
и какой танцуешь танец? — Танец? Я
не знаю сама.

— Сколько полегло их, невозлюбленных,
мамою и папою погубленных, —
расчленят и жгут в печи,
жалко их, зарубленных-обугленных
в золотой ночи.

— В золотой, да с пятернями-звёздами
на стекле, да с пауками, гроздьями
виснущими со стены,
а потом втроём танцуем, — гости мы
как бы сатаны.

Песенку бубнит придурковатая,
голова болит продолговатая.
— Где ты так сошла с ума?
— Я-то? — Ты-то. — Я-то? — Ты-то. — Я-то? Я
не знаю сама.

НАБРОСОК

Какие предместья глухие
встают из трухи!
Так трогают только плохие
внезапно стихи.

Проездом увидишь квартиры, —
так чья-то навзрыд
душа неумелая в дыры
стиха говорит.

Но разве воздастся усердью
пустому её?
Как искренне трачено смертью
твоё бытие!

Завалишься, как за подкладку,
в домашнюю тишь —
и времени мёртвую хватку
под утро заспишь.

РОМАНС

Ах как уютно,
ах как спиваться уютно.
Тихо спиваться, совсем без скандала.
Нет, не прилюдно,
нет, ни за что не прилюдно.
Истина, вот я! Что, милая, не ожидала?

Ах, покосится,
ах, этот мир покосится.
Что там синее, окно наряжая?
Что-то из ситца,
что-то такое из ситца.
Небо — от Бога. Я вместе их воображаю.

Ах как не жалко,
ах как легко и не жалко!
В петельке дыма, как будто в петлице,
тает фиалка!
Благоухает фиалка.
Ах, закурив, улетаю к небеснейшей птице.

Оскар с Марселем,
Оскар летает с Марселем
там темнооким, в цилиндре и с тростью.
Тянет апрелем,
искренним тянет апрелем,
зеленоватой, едва завязавшейся гроздью.

Взоры возвысьте,
до небыванья возвысьте!
Лёгкие, мы забрели в эти выси
не из корысти,
как птичьи не из корысти
тельца пульсируют, птичьи, и рыбы, и лисьи.

Ах, виноградник,
зрей, мой лиса-виноградник!
Ведь тяжелит только то, что порочно.
Огненный ратник,
целься в счастливого, ратник,
в лёгкого целься, без устали, ласково, точно.

ХОДАСЕВИЧ

Пластинки шипящие грани,
прохлада простынки льняной.
Что счастье? Крюшон после бани,
малиновый и ледяной.

Которой ещё там — концертной? —
прохлады тебе пожелать?
Немного бы славы посмертной
при жизни — да и наплевать.

НА ВЕСАХ

А пока на весах я стою,
на клеёнке белесой,
взвешиванье воспою,
гирьку противовеса,

капли влаги на стенах
склизких и вдалеке
карту мира в растленных
пятнах на потолке,

буду точен как жизнь,
чтобы два в равновесье
белых клюва сошлись
на весах, — вот он, весь я,

воспою переход
в банное отделение, —
холод горько пахнёт,
и окна полыхнёт воспаление,

плавай, мельница, там,
в море круглом,
а покуда к ноздрям
придымится всем углем

эпос трюмов, снастей,
парусины прогретой,
тросов, торсов, страстей,
тьмы запретной.

Поле дымное брани,
шайки неандертальцев,
ямки, выпаренные после бани,
на подушечках пальцев.

МОТИВ

Лампу выключить, мгновенья
дня мелькнут под потолком.
Серый страх исчезновенья
мне доподлинно знаком.

В доме, заживо померкшем,
так измучиться душе,
чтоб завидовать умершим,
страх осилившим уже.

День, как тело, обезболить,
всё забыть, вдохнуть покой,
чтоб вот так себе позволить
стих невзрачный, никакой.

* * *

День дожизненный безделья,
солнце лишнее пылит,
слабость райская, апрелья,
золотые кегли, келья,
горло медленно болит,

спит растение не проснётся,
но, затеплясь у корней
и взветвясь, огонь займётся,
я не знал, что обернётся
жизнь привязанностью к ней,

что, дыханием согрета,
по углам себя тая,
как дворцовая карета,
ахнет комната от света,
незнакомната твоя,

что душа, как гость, нагрянет,
наделит собой жильё,
что под вечер жизнь устанет
жить, что вовсе перестанет,
что общешься её,

что, сойдясь в едином слове,
смерть и жизнь звучат: смежи, —
и заснёшь, и будет внове
на движенье смежной крови
не откликнуться в тиши.

В ПОЕЗДЕ

Как тянутся часы ночные,
какое время неблагое,
и лица блёклые, мучные,
и всё на свете — Бологое.

Как будто пали в общей битве
(и пробуют опять слететься)
за наволочку, простыни две
и вафельное полотенце.

Как будто в узком коридоре
лиц нехорошее скопленье,
и вот — униженность во взоре,
готовая на оскорбленье.

Задвинь тяжёлую, не надо,
пусть в глуби зеркала, нерезко,
лежит полоска рафинада
в соседстве с ложкой полублеска,

пусть, тронутое серой линькой,
заглянет дерево со склона
в колеблющийся чай с кислинкой
благословенного лимона.

И поднеси стакан, не пряча
познания печальный опыт,
почувствовав его горячий
и приближающийся обод:

откуда знать тебе, кого ты
на полустанке присоседишь,
и что задумали длинноты,
и вообще куда ты едешь.

В БЛОКНОТ

В сереньком тихом пальто
дождик, как мышкин, идёт.
Что это значит? А то.
Мимо стоит идиот.

Булочку с маком жуёт,
пищевареньем живёт.

Ноль-вероятность прийти
в мир человеком-собой.
Стой, идиот, на пути
глубокомыслия. Стой.

Наискосок перейду
я перекрёсток и весь
в мнимую область вон ту
выйду не-мной и не-здесь.

ОБХОД С ДОСТОЕВСКИМ

Сюда, сюда, пожалуйста-с, прошу-с,
составьте честь, а зонтичек, а мокро-с,
что затоптались? борет грозный образ?
ну наконец-то-с, эх, святая Русь
всех примет, незадирчиво раздобрясь.

Здесь Болдесовы, любят трепеща-с
среди нестерпимой ненависти-с, ручку,
прыг-прыг, ловчее, вишь ты, сбились в кучку,
невемо что приспичило сейчас —
вчера весь вечер трогали получку.

Не знаю-с, право, с чем сопоставим
стиль Бандышей, да вы бочком, мостками,
я извиняюсь вам, погрязли в сраме,
валяются всю ночь по мостовым
и хрюкают. Дощупывайтесь сами.

Зато у генеральши пол натёрт-с
и всё блестит-с, Утробину-паскуде
шампанское несут и фрукт на блюде,
а то ещё закажут в «Норде» торт-с —
военно-эстетические люди!

Пожалуйте-с сюда, здесь топкий пруд,
а мы перепорхнём-с, не в месте вырыт,
народец — гнусь, тот в шляпе, этот выбрит —
а всё одно: ладошками сплеснут,
да хохотнут, да что-нибудь притибрят.

Но веруют — я без обиняков —
изряднейше: Ярыгин, этот в церковь
бежит, чтобы прожить не исковеркав
души, с ним Варначёв и Буйняков —
и все метр пятьдесят, из недомерков.

Народ наш богоносец, новый сброд
людей, как говорится, впрочем, есть и
мошенники, которые без чести,
с препонами, но в целом-то народ,
могу по пунктам-с, тих, как при аресте.

А вместе с тем — и крайний по страстям,
Туныгины относятся к тем типам,
что плачут врыд, хохочут — так с захлипом,
чуть что — за нож, держитесь, где вы там?
по праздникам страдают недосыпом.

Для благоденствий совести — кружки,
где люди образованные; к власти-с,
когда возьмут с поличным, льня и ластьясь
живут, а так — с презреньем, и стишки
пописывают вольные, несчастье-с.

Игонины, Гопеевы, подчас
всех не припомню-с, кладезь, исполины,
хоть вполпьяна и стужею палимы,
и сплошь позор, и плесень, но игра-с
природы гениальная. Пришли мы.

Не вечно же плутать, хоть чудо — Русь,
среди распутиц этих и распятыц,
ну, что ли, до приятнейшего, братец,
для вас уже просторная, смотрю-с,
готова клетка с видом на закатец.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОЩАНИЕ*

...назад, в «Спартак», в чьей плюшевой утробе
приятнее, чем вечером в Европе.

И. Бродский

Прощай, «Спартак», с батальным полотном
на входе, белоснежный хруст пломбира
прощай навеки, в кассу полином
ветвящийся, — о, слякотно и сыро,

великолепно, молодо, легко, —
прощай, сеанс последний, столько боли
в прощании и так ты далеко,
что дальше только книга Джованьоли

с обложкою затёртой, щит и меч,
о, полуголый воин мускулистый,
ты победил, украсив эту речь
собой и ленинградский воздух мгlistый,

ты плыл пиратской шхуной между школ,
по третьему звонку на белом фоне,
мой бог, Кавалерович Анджей шёл,
и Федерико шёл Антониони,

* В декабре 2002 года в Санкт-Петербурге сгорел кино-театр «Спартак».

билетика уже не раздобыть,
но всею синевой его с «контролем»
оторванным клянусь тебя любить,
всем выпитым в буфете алкоголем

клянусь тебя лелеять, дождик вкось
летит туда, где мостик капитанский
сиял под мачтой, о, не удалось —
прости, «Спартак», — проститься по-спартански.

БАЛЛАДА О ТЕАТРЕ

На подходе к театру снуёт жульё,
продают входные из-под полы,
двадцать пять — в партер, на галёрку — два
да в буфет талон на еду-питьё,
у иванов праздник, им трын-трава,
краткий отдых от кабалы.
На подходе к театру снуёт жульё.

Скоморохи-то крохи совсем, юнцы,
на контроле шутки шутят, вопят,
да палят из ружей, да пристают,
все раскрашены с головы до пят,
за юбочку иль за штанцы
цап-царап — смотри, кошелёк сопрут!
Скоморохи-то, крохи совсем, юнцы.

Пантомима похотью вся разлилась
на просцениуме в прожекторах,
тут не только выучка, тут и страсть —
тот взасос целует, та в морду хрясь,
в вертограде том вертопрах
оседлал садовницу, скачет всласть.
Пантомима похотью вся разлилась.

Взвился занавес, ну-ка, мы поглядим,
что вошло из семени, что почём,
так и есть: тут свадьба, пол ходуном,
там развод — раздольюшка молодым! —
заливаясь пивом-водкой-вином,
жертва в пляс идёт с палачом.
Взвился занавес, ну-ка, мы поглядим.

Скоро-скоро друг друга вконец растят,
раз-два! — и управились, погляди:
ходят чинно, заседают в судах,
наградными цацками на груди
гордо звякают, чад растят,
а в антрактах блядствуют, божий страх!
Скоро-скоро друг друга вконец растят.

В пятом акте накатывается ночь:
«...далеко, — доносится, — до зари...» —
и пока им по сердцу петь-играть,
к дряхлой матери со скандалом дочь

заявляется и шипит: умри,
время жить, мол, и умирать.
В пятом акте накатывается ночь.

Где-то там, за кулисами, старики —
ходят шёпотом, говорят пешком,
воду пьют, глоточками семеня,
да мозги друг другу, как парики,
пудрят, ветхо стоят кружком,
все — особенно со спины — родня.
Где-то там за кулисами старики.

Вот кончается действие, гаснет свет,
вот идут иваны вдоль по рядам,
обсуждают фабулу, эпилог,
по домам пора, пора по домам,
лишь один стоит — занемог,
заболел, не мил ему белый свет.
Вот стоит Иван, хочет вернуть билет.

ЗАБОЛОЦКИЙ В «ОВОЦНОМ»

Людей явленье в чистом воздухе
я вижу, стоя в «Овощном»,
в открытом ящиковом роздыхе
моркови розовые гвоздики,
петрушки связанные хвостики
лопочут о труде ручном.

И мексиканцев труд приземистый
шуршит в рядах туда-сюда,
ярко-зелёный лай заливистый
салата, мелкий штрих прерывистый
укропа, рядом полукриво стой
и выбирай плоды труда.

И любознательные крутятся
людей зеркальные зрачки,
а в них то шарики, то прутьица,
то кабачок цилиндром сбудется,
и в сетках лаковые грудятся
и репчатые кулаки.

Людей явленье среди осени!
Их притяжение к плодам
могло б изящней быть, но особи
живут не думая о способе
изящества, и роет россыпи
с остервенением мадам.

То огурец откинёт, брезгуя,
то смерит взглядом помидор.
Изображенье жизни резкое
и грубоватое, но веская
кисть винограда помнит детское:
ладони сборщика узор.

Чтоб с лёгкостью уйти, старения
или страдания страда
задуманы, и тень творения
столь внятна: зло и озверение...
Но испытанье счастьем зрения?
Безнравственная красота.

ЛИРИКА

Валерию Черешне

Жаль будет расставаться с белым,
боюсь, до боли,
с лицом аллеи опустелым,
со снегом, шепчущим: постелем,
постелем, что ли...

Летит к земле немой образчик
любви, с испода
небес, всей нежностью пылящих,
летит, как прах с подошв ходящих
по небосводу.

Родительница и родитель
мои там ходят,
и Бог, как друг в стихах увидел,
дарует тихую обитель.
С ума не сводит.

К ним никогда прийти не поздно,
не рано, нервно
не выйдут в коридор и грозно
не глянут. Высвечено, звёздно,
неимоверно.

Жаль только расставаться с белым,
пусть там белее,
с неумолимой рифмой: с телом,
с древесной гарью, с прокоптелым
лицом аллеи.

И мудрость тоже знает жалость
и смотрит мимо
соблазна жить, на эту малость,
на жизнь, которой не осталось
непостижимо.

«Грифцов», элегии и другие стихи

ЛЮБОВЬ

Как-то раз его навестила молодая пара,
муж с женой. Он тогда умирал от горя,
потому что был брошен возлюбленной
дивноокой... Грифцов сказал им,
что у него нашли угрожающую аритмию.
Пару цепко заинтересовал метод
опознания опасной болезни.
Чуть замешкавшись, Грифцов поведал...
И жена, откусив плода кусочек,
улыбнулась: «Угрожающую аритмию
так вообще-то не определяют».
Муж за ней повторил: «Не определяют».
Вскоре пара, обнявшись, к машине
заспешила мягко, простясь с Грифцовым.

Только год спустя он диалог расслышал,
торжествующий диалог их в салоне рая,
и любовь их увидел там же,
чуть отъехали они и в лесок свернули.

ВЫХОДНОЙ

Как-то раз он пришёл домой без четверти
полночь, ручные часы и настольные
показали без четверти, но оказалось,
что настольные встали ровно
в тот момент, когда он смотрел на стрелки.
Вот тебе, Грифцов, и смотрелки.

«Не из ревности ли к тем, что ближе, — усмехнулся он, — батарейка села?»
Он её пожурил: «Невежливо. Ведь вошёл хозяин». Или, может быть, взгляд его был недобрый, ведь настольные часы — будильник...
Утром его разбудило солнце,
утром зимнее выходное солнце его разбудило.
Всех-то дел было — пройтись до магазина,
заменить батарейку, купить бублик к чаю.
Сказано — сделано. Он шёл спокойно,
словно бы видя, как идёт спокойно,
словно бы не он это шёл, а тот, кто легче,
ничего не значащий человек, невесомый...
Путь туда, вывернувшись наизнанку,
стал обратным. Дверь на лестничной клетке
вертикальным конвертом белела.
Он открыл её, вложил себя и захлопнул.

«Я письмо, — подумал Грифцов, — но знать бы,
от кого, кому и на чём наречье...»
Он поставил часы на стол, и тут стемнело.

НА УРОКЕ

Как-то раз Грифцов-репетитор
занимался со школьником малым,
бледным, как утренняя погода.
Он и был её блудным сыном —
так рассеянно смотрел в окно, неотрывно...
В молоко... «Он целиться не научен,

он не знает, что такое мишень, —
так Грифцов сказал про себя и спросил: —
Антоним к слову “свет”, допустим?»
Но мальчик его не слушал.
«Не антоним ли ты ко мне, Грифцову?
Сколько раз надо сглотнуть обиду,
через труп свой переступая,
чтобы молоко на губах обсохло,
глаз научился смотреть с прищуром,
а щека прилегла к прикладу?»

И Грифцов решил: «Пусть его научит
кто угодно, только не я». И вышел.

БИБЛЕЙСКИЙ СОН

Как-то, в пору наводнения,
выпустил Грифцов из рук тепла
голубя, и тот исчез дотла,
засмеркался и исчез, вроде видения.
Небо ночи синью возросло,
как кристалл сульфата меди.
Заклубилась колба сна, Грифцов весло
уронил. Всё стало ожеледью.

Долго видел взорванное
и застывшее стекло пространства,
а потом канун почуял праздника.
Ослепило что-то взор его.

То была предутренняя весть —
выюркнув из льдистого тумана,
в форточку влетел, Грифцову весь
возвращённый, голубь Иоанна.

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

Вот воздуха февральского клочок,
на нём её фигура перевозданно
горит, чтоб твой затеплился зрачок,
Грифцов, и он затеплился. Осанна!

Когда ты приближался к ней, она,
ещё внезапна и с собой не сходна,
была с таким пристрастием дана,
что сердце в горле билось. Превосходно!

Грифцов, как хорошо тебе дрожать
в своей любви, ты приобщился тайне,
и это всё, что стоит удержать —
клочок февральский! — в памяти. Бескрайне!

Осанна! Этот двор и редкий снег,
летающий на сарай, качели, брёвна
и ветви всех деревьев — этих рек,
текущих в небеса... Беспрекословно!

ГРИФЦОВ ПРОГУЛОЧНЫЙ

1

Кто этот винодел, который свёл
речную рябь и запах смол?
Вдоль берега проносится по шву
искристый поезд, вылетевший из
шампанского туннеля. Празднуй жизнь!
Но как поверить в то, что я живу?

Я на мосту свидетель облаков,
златящихся со всех боков,
и синева, в кристалликах стиха
сверкнувшей, точно Лермонтов какой
волной плеснул мне в сердце звуковой
и молвил на прощанье: «Ночь тиха...»

2

Надо где-то рядом погулять
с обозримым, здесь, но где-то рядом...
Вдруг увидеть ледяную гладь
озерца и стать безмерным взглядом.

Треском льда напугана, гусей
всколыхнётся эскадрилья,
с криками и хлопаньем, во всей
траурной красе расправив крылья.

И исчезнет. Наклони печаль,
чтоб пригубить из пустого блюда
и невидимым усилием даль
так в себе продлить, чтоб не вернуться.

В ОБРАТНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Как-то раз Грифцов лучезарный
в майской комнате со шкафом зеркальным
был застигнут отцом его приходящим,
что от матери жестоковыйной сбегал то и дело,
а потом и вовсе ушёл и года три не являлся.

Он стоял, преклонив колено, спиною к шкафу,
а Грифцов-ребёнок стоял перед ним и видел
отражение их в зеркале неумолимом.
Пахло от отца шоколадом, поскольку
он принёс коробку и, сдёрнув глянец,
приоткрыл её заискивающе — в углублениях
на ажурных лафетах лежали конфеты.

Был отец женолюбив и ласков,
статен, нежно-розов лицом. Грифцов заметил,
как по правой и левой щеке его поочерёдно
две скатились слезы...

А лет через двадцать,
у картины Рембрандта, в Эрмитаже,

сам Грифцов пролил две слезы, постигая
то, что можно постичь не умом, а сердцем:
он постиг обратную перспективу,
где ребёнок в святом ореоле и светоносном
возвышается над блудным отцом слезливым.

ДВА ВОЗВРАЩЕНИЯ

Как-то раз Грифцов обморочно засмотрелся,
а верней — уставился в одну точку,
а ещё точнее — с собой смирился
и забыл себя насовсем и прочно.

Как небесный глобус, фонарь горел на платформе.
Перешёптываясь, стояли деревья вплотную.
Но Грифцов не дольний мир уже созерцал, а горний,
из горячей полдня воды входя в ледяную.

И когда оглушительно смолкло на белом свете —
ни трагедий, ни глобуса, ни горького запаха гари, —
мысль-чертовка, подобно хвостатой комете,
пролетела мимо Грифцова мозга двух полушарий.

Через час, ночь ли, вечность, обросший щетиной,
он очнулся, подумав: «О забытьё, как ты мудро!» —
ровной радости миг миновал неощутимой —
и вышел в торопкую трусость утра.

СЕМЬ ПЛЮС ОДИН

У одного глава склонённая —
устал и на закате сник,
а у другого — удлинённая
с изгибом шея, в тот же миг
у третьего — улыбка кроткая,
четвёртый сдерживает гнев;
потупясь: «Жизнь моя короткая!» —
вдыхает пятый нараспев,
шестой в окно глядит без устали,
и тянется к нему седьмой —
кто знает, что у них, не чувства ли...

Грифцов застыл, придя домой:
не разум — он всегда провинция
безмолвной истины, пойми,
нет, в отрешённости *прими* —
изысканная интуиция
тюльпанов огненных семи.

УТРО

Неба синева открытая,
точно озеро в ночи,
землекопами отрытое,
силе света научи.

Нет ни облака, ни идола,
только вверх идти ко дну,
и пока мне душу выдуло,
я к бесцельности шагну.
Не душа в молочных обжигах,
как бы ни была свежа, —
есть края роднее обжитых
и другие — не душа.

ГРИФЦОВ — ПЕРЕВОДЧИК ШЕКСПИРА

№ 135

Кто бы тебя ни тешил неглиже,
один Уильям метит прямо в цель,
взведя копьё! Он *именем* уже
к сладимой щели льнёт и льётся в щель.
Увлажнена ль, чтобы Уильям мог
там пировать, шекс-пировать, иль ждёт
он изволения зря? Смотри, он взмок.
Ужели не Уильям? Кто? Вон тот?
Уильям грянет ливнем в океан! —
Не переполнить? Пусть. Но утолить,
насытив, страсть! Он страждет, пьян и рьян,
уильямсь, всё в сладимую излить.

Впусти меня — и в пиршестве утех
в Уильяме сольётся похоть всех.

№ 136

Клянусь слепой душе твоей, что я
Уильям, по складам меня читай:
У-и-льям — в нём желанье льёт ливмя.
Оно твоё,пусти меня,впитай!
Уильям в тайниках твоей любви
разбудит сонм желаний, среди них —
настоянное на *его* крови.
Возможно, растворённое в других,
оно тебя не тронет, но позволь
ему там быть, считай меня ничем,
но всё-таки *считай*, — пусть эта роль
не главная и до поры я нем.
«Уильям» пусть душа твоя твердит,
и он любовью в ней заговорит.

№ 137

Любовь-дурёха, что за слепота?
Мои глаза не видят то, что зрят
перед собой, — им внятна красота,
но пялятся на всё дерьмо подряд.
Зачем они швартуются в порту,
в котором промышляет матросня,
зачем суются в ту же срамоту,
в которую совались до меня?

Зачем себе внушать, что отведён
причал любви-дурёхи одному,
тогда как не причал он, а притон?
О, похоть, неподвластная уму!

Как сучка, ложь, ты спуталась со мной,
и, чумку подхватив, я стал чумной.

ЖИВЫЕ КАРТИНЫ

1

...в маленькой зиме
свет змеится в лезвиях-полозьях,
срез на ледяном зерне —
огненный каток, и люди — парно и поврозь их
вижу — с паром изо рта,
вскользь наклонны и пестро цветисты,
золотая лампочек орда
осадила ёлку, ветра плети-свисты,
с горки с криком сыпь —
бисер детворы ничком, на спинах,
в тёмном небе глыб
оспина луны, и дышит сон в полях остынных,
в маленькой зиме,

в маленькой зиме,
в калейдоскопе
вижу их в паденье и в подскоке,
в парке, в шнуровании конька,
в снег роняют денежку денька,
и ступает ночь уже украденко...

— дяденька, — кричит мне мальчик, — дяденька...

2

Выхватыватель жизнестрок!
Так воробей бочком, робея,
вмиг — крохобор, взъерошенный репей,
и выстрел сердца, и воинственный наскок.

А рядом — под шатром — веселье,
родительская россыпь вокруг,
вдруг — по ребёнку склюнув с карусели,
все второпях летят на кухню жаркий юг.

А после — то в одном оконце,
к нему подплыв из тёмного нутра,
то в третьем, как наживку, солнце
медно-зелёный сом заглатывает до утра.

И площади пустующая мель
развесит шторы — неводá сухие,
и ночь погасит многохищные стихии
и вскормит булкой сна дневную карусель.

3

В вечернем воздухе завис —
 он исполняет кистевой
 бросок, — над ним сияет высь
 своей закатной синевой.
 Над головой откинута ладонь,
 сейчас просвистнет хлёстко
 и сетку просквозит огонь —
 оранжевого прометея слёзка.
 О, задранное вверх лицо,
 о, жизнь, прямящаяся вся, —
 без усталости бросать в кольцо
 и гаснуть, в воздухе вися.

4

Вот женщина у выхода
 (в её руках покупки выгода)
 универсама замирает —
 она к глазам подносит свиток,
 приход с расходом замеряет.
 Чек. Чик-чирик с соседних веток
 да урны мусорное шевеление.
 Его величество Явление.

Закат. Закат и зарево,
 червонное, как звали встарь его.
 Свечение. Покой вечерний.
 В зеленоватой дымке почек

таится листвописец верный
и будущий шлифует почерк.
А женщина идёт домой, как водится.
И сходит всё на нет. Всё сходится.

ГРИФЦОВ ПОЛИТИЗИРОВАННЫЙ

1

Как на ладони Грифцову предстала
жизнь Всевластного.
В скардной бедности живёт семья, с отчаянным
пристрастием к упованию.

Вьётся бледно-зелёный отрок
на простыне в напряжении сил ползливых,
отрабатывая бесшумность энергии накопления
и незримость её, когда возбуждается.

Он боится её пролить,
необходимую в будущем.
Он ползёт от кровати до этажерки, стараясь,
чтоб его не заметили окружающие вещи.

Он называет это умóлченным
извиванием пути, он называет это
изворотливостью глубин. Всевластный
подрастает. Грифцов его видит как на ладони.

2

— Что умеешь? — спрашивает Испытующий.

— Проползу до той стены так,
что ваш стол этого не заметит,
ни даже более зоркое кресло.

— Ползунок, — говорит Испытующий, —
сам сюда не приходи отныне.

Научись себя изымать совершенно,
и тебя позовут наши люди.

Он вернулся, чтобы к стене, напротив
зеркала, приковать себя цепью
и добиться невидимости искоренением
организма частиц. И добился.

3

И однажды, когда он стал Всевластным,
прикипев к бумаг изучению в кабинете,
к составлению их, к приказам
о прочёсе леса и обезвреживании бандитов,

об уменьшении размеров бедности населения
и продлении средней жизни
продолжительности, — он получил записку:
«С подростковых лет я избивал тебя сладко.

Ты всегда ведь был подлецом, Всевластный.
И сейчас, когда для тебя я недосыгаем,
а моя “История” всем доступна, избиение длится
в вечности и обозримо великолепно!»

4

Так увидел Грифцов. А когда бледно-зелёный
в прошлом отрок подох, никому из смертных
в голову не пришло сказать, что Бог забирает лучших.
И Грифцов заснул умиротворённо.

ГРИФЦОВ НА МИТИНГЕ

Грифцов идёт и видит: митинг!
Парят витии над людьми,
размахивая, как плетьюми,
идеями, чтоб вразумить их.

То потный патриот недужит:
«Ату!» — кричит, слюна во рту
клокочет и кипит, Христу
он чёрной ненавистью служит,

то удалец с тоской звериной
и узкой злобою в глазах,
а то, с лимонками в трусах,
козёл с бородкою козлиной.

И всяк зовёт к себе Грифцова
и словоблудит, чтоб привлечь...
Грифцову вонька эта речь.
Он чист и дышит образцово.

Он говорит: «Мне мерзок митинг,
ужимки эти и прыжки,
идите в баню, там ваш мытинг,
отмойтесь, грязные щенки!»

ГРИФЦОВ И ДАВИД

№ 5

Едва начнёт растоп
заря, — я пред Тобой,
услышь, Господь, мой воп,
молитвословный мой.

Ты пагуба лжецов,
паскуд и грехомыг,
чьи рты вроде гробов
разверстых, а язык —

труперхнущая лесть.
Войду в Твой храм, зане
Твоих щедрот не честь.
Страх — очищение мне.

Коварства не прими
и злобы не прощай.
Лишь Сына путь прями
и благостью венчай.

№ 11

Спаси, Господь! В чести соблазны
лукавых: «Кто нам господин,
когда державным словом властен?»
Кадильщики все как один.

Лишь нищему Ты явлен в Силе
и лишь творящему добро
Твои слова — семь раз в горниле
очищенное серебро.

Повергни криводушных в известь
горящую, чтоб извести
их племя, — здесь, где только низость
и велеречие в чести.

№ 143

О будь благословен, мой Избавитель,
моя твердыня, Ты в мои персты
вложил копьё, могучий щит мой — Ты.
Я Твой воитель.

Не дивно ли, что обращён Господень
взгляд на того, чья жизнь на волоске!
Что человек? — Тень ветра на песке.
Он мимолётен.

Сойдя с небес, Тобою наклонённых, —
Тебе покорны молнии, мой Бог! —
молю, испепели дотла врагов
иноплемённых!

Десница их — десница лжи безумной.
Избавь! Они ползут со всех сторон.
Тебя лишь славит мой псалтерион
десятиструнный!

Да вымрет род их пагубный и тощий!
Да возрастут сыны Твои, как лес,
и дочери — под нежностью небес —
прекрасной рощей!

Да будут наши житницы обильны
зерном, да приумножатся стада!
Твоя рука щедра во все года,
а власть всеильна!

ГРИФЦОВ-ОРФЕЙ

Дуновенье небесной купели.
Как идти с Эвридикой он рад
сквозь цветения время, в апреле!
Первых листьев горят,

зеленясь, язычки, и душиста
прорастающая тишина...
Вдруг у дерева остановилась:
«Разве мысль не страшна —

умереть и отчётливой сини
никогда вот над этой ветлой
не увидеть? Непереносимо...» —
и взглянула светло.

Это было прекрасно и просто.
Дай мне вспомнить, пока не забыл,
как Грифцов полюбил её просто,
как легко полюбил!

ОБРЫВ ФИЛЬМА

Как-то раз он проснулся
не один. Не в своей квартире.
Не в её. В гостях несусветных,
в новостройках — таблицах
логарифмов (в какую степень

мертвооую возвели фундамент,
чтоб получить такое!).

Показалось, что надо что-то
сотворить — в трепыханиях утра
трижды крикнул петух метафор,
наизнанку вывернутых в сегодня,
и потух — друг от друга
не отреклись они малодушно...

За окном января мальчонка
начинал лепить снежную бабу,
первый ком блином рассыпáлся,
но потом получилось...

По весне, возле речки Лубьи,
ночевали на даче.
Там большие водятся сосны,
и чернеют и машут крылами в небе.
Там она о её любившем
юноше рассказала, рано
мир покинувшем, и о том, что
иногда он вдоль речки бродит
и как будто плачет...

Как-то раз (вчера в полночь)
выпивал я после работы
в «Шарлаховом дубе»,
думая о Грифцове...

Горбоносая женщина вдруг
налетела, защёлкала, наводя
объектив на витрину бара,
восхитившись пластмассовой
красотой закусок...

Тот, кто пишет сегодня
«Повесть временных лет»,
пусть внесёт в неё
сей эпизод полночный.
Всякий знает: случайность —
режиссёр гениальный...

Но Грифцов, — так решил я
за секунду до третьей стопки, —
не участник этого фильма, —
он расстался немедленно с Гретой
и с тех пор не искал подруги.
Он сказал: «Мне любить
не по силам, а не любить не надо.
Быть одному — вот что
единственно и прекрасно».

ГРИФЦОВ — ПЕРЕВОДЧИК ДЖОЙСА

Льёт тихий дождь над гробовой доскою
любившего меня, ты слышишь, вот —
сквозь слабый свет луны — с тоскою
он вновь зовёт.

Любимый, та же нас подстерегает осень,
и в скорбном сердце та же дрожь
под лунною крапивой, там, где плесень
и шёпот-дождь.

ГРИФЦОВ И ВТОРАЯ КНИГА ЦАРСТВ

И было после того: у Авессалома,
сына Давидова, [была] сестра красивая,
по имени Фамарь (Тамар), и полюбил
её Амнон, сын Давида.

2 Цар., 13:1—22

1

Болен твой брат, сестра.
Ты его навести.
Свечой добра
в темноте погости.

Ты ему приготовь
понежнее еды.
Всё-таки кровь...
Дай воды.

Пусть не будет в дому
никого, только вы.
Ближе к нему
подойди, позови.

Ты над ним наклонись,
имя шепни: Амнон!
Есть ли в нём жизнь?
Дышит он?

2

Глаза закрою — и реву
во сне, и сам себя не знаю, —
с тебя сдирая, платье рву
и плоть твою терзаю.

И если не орущий взлом,
меня увечащий ночами,
и если сквозь тебя стволом
тотчас не прорасту толчками,

то мозг расплавится. Сестра?
Но тем острее, чем запретней.
Будь медленна, потом быстра,
влажнее и ответней.

О, этот крик, когда, вмяня
в себя до огненного края,
ты липким соком недр меня
обволокнуешь, изнемогая!

— Стали позором, брат,
жизни ночи и дни...
Но и пути назад
нет мне. Не прогони.

— Мне тошнотворен мёд.
Губ твоих не ищу
и за то, что я мёртв,
тебя не прощу.

— Разве моя вина
в том, что в зверином сне
ты исчерпал до дна
жизнь? Повернись ко мне.

— Не прикасайся. Сплю.
Мозг превратился в пар.
Я тебя не люблю.
Уходи, Тамар.

ГРИФЦОВ И БЕККЕТ

1

Вас, беккетовских двух, прижатых
друг к другу, слившихся в одно
двуглавое, худых, не жадных
до жизни, сброшенных на дно

существования, столь спящих
и нищих, слипшихся почти,
в подземном грохоте пропащих,
навек сбившихся с пути,
утрясшихся, усохших, утлых,
вас, беккетовских двух, приبلудных, —

в людской стране высокомерья,
в которой разве только сон
горяч, животный сон безверья, —
я созерцал и, вознесён,
возвёл вас не в абсурд и вздор, нет —
в сердечный пламень среди льдин...
Двуликий Янус, что развёрнут
внутри профилями, где один
так разрыдался вдруг, что смехом
другой откликнулся, как эхом.

2

Пойдём? Я приготовился... — О господи,
ты стал как тень. — А ты? — Какая местность
скупая! Что за пшики? — Паровоз, поди. —
Нас кто-то встретит? — Полная безвестность. —

А ты её узнаешь? — Я-то? Сослепу?
Едва ли... В крайнем случае, на голос
пойдём... — Внимай и будь послушен оклику.
Нет, что это? Не Северный ли полюс? —

Не знаю. — Что? — Тетеря... Ты квитанции
и паспорта взяла? — Дурак, мы тени!
Как предпочтительней тебе — от станции
или на станцию?.. — Нет предпочтений... —

Тогда пойдём...

ДВА ГРИФЦОВСКИХ СОНЕТА

1

Громожденье каменистых круч.
Ни людей не видно, ни огня.
Гор уклад безжизнен и могуч.
Значит, обойдутся без меня.
Зверь собачий юркнул в конуру.
Трудодню подведена черта.
Помолись на уличном ветру,
потому что церковь заперта.
О себе не помни, не смотри
в сторону пощады. Немошь, прочь!
Каково висеть Ему внутри
в темноте и холоде всю ночь?

На рассвете стану жить опять.
Надо только смерть свою унять.

Сознание овцы, жующей
безостановочно, летящей
над океаном чайки, ждущей,
за входом-выходом следящей
привязанной собаки (жгущий
лицо, полдневный и слепящий
пустыни зной, иль райски кущи,
иль тундры ветер леденящий) —
сквозь мир, до сердцевины сущий, —
в однообразии кипящий,
без мысли, то есть неимущий,
припой сознания пропаций.

Тем ярче с неба не *идущий*
зов ясной мысли, но *светящий*.

ДИАЛОГ ГРИФЦОВА СО СВОЕЙ ДУШОЙ

— Столько в юности сил,
что хватило б на святость.
Закошил.
Вот и вся виноватость.

И пока не зачах,
смей признаться
в некоторых вещах,
а не то — упразднятся.

Честь не мог ли спасти
там, где морда
пса в почёте, врати
в площадь мёртво?

Был, найдя свой мотив
в одиночестве жгучем,
ты правдив
и тщеславьем не мучим?

Так ли сплошь потрясён
смертью брата,
пьяный сон
с век смахнув без возврата,

чтобы к жизни прильнуть,
не смыкая
глаз отныне? Ничуть.
Не прошу. — Кто такая?

— Ты не только не Сын,
ты пребудешь подлогом
человека, один,
то есть не перед Богом.

Хором, слышишь, вопят
в той траншее? —
Обжит дантовский ад.
Твой страшнее.

ВЕСНА

У женщин выпятились животы,
идут подруги футболистов,
дыханием приоткрывая рты,
и шёпотом шумят трибуны листьев.

Дымят лотки, страды весенней стынъ,
из подтрибунных помещений
везут на свет арбузы дынь,
и почки лопаются без смущений.

Безмозглый мир счастливится дождём.
Дозволь-ка мне не выпад — выцап
когтистой мысли: я о том,
что будь разумен мир — мне не родиться б!

ЭЛЕГИЯ. ВОПЛОЩЕНИЕ

Меня, со всеми мыслями моими
и чувствами извивчиво живыми,
как червь, как ветвь, как Критский лабиринт,
где нить горит,
меня, вольфрамовой молниеносной нитью
спасённого, прошьёшь какой-то гнитью?

Мою, со всей листвою и хвоей леса,
где пёстрые мелькают гирьки веса,
пощёлковая, плача, хлопоча,
где, как парча,

вбирает солнце земляничная поляна,
жизнь распылишь, чтоб стала неслиянна

сама с собой, с великолепьем тождеств,
когда в кругу божеств, а не убожеств
я то, что предо мной? — Вот чайный куст,
он многоуст
в своём цветении, он кожист, острозубчат,
а вот ночной корабль, дымящ и трубочат.

Я, подходящий к линии прибоя
ступнёю тронуть вещество припоя,
запечатлённый мальчик, птичья кость,
берущий горсть
песка зернистого, текущего меж пальцев,
я буду вычеркнут из постояльцев?

Корабль плывёт, вода черна, Эвксинский
Понт, а внутри — мир аурелий склизкий,
и звёзд морских, и пурпурных ежей,
шесть падежей,
три склонения, глагол, предлог, причастье,
пиши в тетрадь, вот слово есть: запястье.

Ты помнишь ли его, из-под манжета
оно виднеется в загаре лета,
а там любовь и солнечный удар,
а там базар,
пропахший паприкой, колендрой, сельдереем,
а там зима пыл охладит Бореем.

Меня, с моею памятью, столь цепкой,
что если я задуман мёртвой щепкой,
то для чего ноябрь, снег в фонаре,
лиса в норе,
подлунные поля, как простыни льняные
из синьки, и оконца слюдяные?

Так вьестся в мир, как в мир себя врезает,
зигзагами, как будто разгрызает
пространство, в снеговую канитель
одевшись, ель, —
всходя, над ярусом надстраивает ярус, —
в два профиля неколебимый Янус!

Так впиться в мир, чтоб он в тоске прицельной,
меня увидев с ясностью предельной,
как я — его, меня не отпустил, —
каков настил! —
дощатый, хвойный, ледяной, морской, небесный,
любой — ты без меня пустой и пресный!

ЭЛЕГИЯ. ПРИШЕСТВИЕ

Он в кухне говорит о чём-то
с женой, он в майке выцветшей
напротив чёрного окна,
я для отчёта
(перед собой) записываю вирши,
едва стряхнув лохмотья сна.

Как будто это кадры фильма,
просмотр, где я единственный,
уставясь в крапчатый экран,
почти насильно
смотрю и вижу: друг мой незабвенный,
вернувшийся из дальних стран, —

ему дана неделя, — бледен,
он ходит, взяв квитанцию,
он должен заплатить за свет, —
блокнот мой — бредень,
которым я вылавливаю танец
(в лохмотьях сна), точнее, след

движений: муж, за ним по кругу
жена, тарелка с трещиной,
на ней кусочек хлеба, нож,
я вижу, другу
нехорошо — очкастый, отрешённый,
он слишком на себя похож,

вот — я могу его потрогать,
когда бы не театр теней,
не странная брезгливость, не
сосновый дёготь
сна, не попятное в нём тяготенье
проснуться, выскочить вовне,

не радость тайная, что это
реальность, что и ты придёшь
когда-нибудь издалека
в такое лето,
где эту ручку и блокнот увидишь
и оживёт твоя строка:

он! до неузнаваемости (в майке,
напротив чёрного), он весь —
мне утешение и страх,
а вот ремарка
пред тем, как опуститься занавесу
и буквам разбрестись впотьмах:

он умер и давно истлел в могиле,
стоит, квитанцию в горсти
зажав, он должен заплатить
за свет, за то ли,
что иногда их отпускают в гости
и можно умереть, но жить.

ЭЛЕГИЯ. ПЛАВАНИЕ

Люблю зашторенные окна, свет не лезет
в глаза, а на столе люблю стихи,
написанные накануне, лепет,
возможно, но люблю их перечесть,
когда захватывает дух на стыке
двух строк: блеснёт находка ли? — бог весть.

А в те часы, когда закончен труд полночный,
люблю сквозь сон разматывать клубок
минувшего, когда, уже неточный,
день гаснет в памяти, но не совсем,
так, улыбнувшись встречному, улыбку,
простившись, всё несёшь — куда? зачем?

Та глуповатость, о которой умный Пушкин
писал в письме, умеет набрести
на свежесть слова, как на запах стружки,
зайдёшь в какой-то двор, а там столяр
орудует рубанком честь по чести, —
люблю живой и благородный дар.

Куда завёл меня мой стих? Я на задворках,
в той мастерской, где строят корабли
игрушечные, где о двух «аврорах»
не слыхивали, только об одной,
шпангоут, рубка, мачта, пота капли
кропят твой лоб и детский профиль твой.

Потом на Каменный поедem, на Крестовский
к веслолюбивым лодочникам, там
по сходням — из-под ног уходят доски —
сойдём и оттолкнёмся, — в путь, пора
взглянуть на шпиль бессмертного эстампа
со стороны, на блещущий с утра.

Люблю точёное скольжение восьмёрок
с глашатаем, сидящем на руле,
изменчивого неба свет и морок,
как в проявителе, дрожит в реке,
кого похитили? — я слышу в гуле
знакомый голос, родственный строке.

Елену? Значит, снаряжайся, Агамемнон,
ты бабьей верности *такой* хлебнёшь,
которая не снилась всем Еленам,
ведь ты ещё вернёшься в отчий край...
Но возвращения претит мне ноша,
обратной лодке не бывать, прощай!

В обратном плаванье люблю *другую* лодку,
она прошита памятью моей,
трагедия бесповоротна, кротко
я должен перечислить инвентарь
и на хранение царские покои
стихотворенью сдать, как щедрый царь.

Расшторить окна, но ни сетований сердца,
ни радости не выдать, гладь да тишь,
рассвет сменился днём, а тот рассесться
успел на троне, — *что* мне эта ширь? —
я с равнодушной вежливостью, видишь,
приветствую ухоженный пустырь.

ЭЛЕГИЯ. ПОД ЛИНЗОЙ

Чем долгодолгий день? С собой, подробностью,
вниманием, таящимся под робостью.
Как бы под линзой, день — под рассмотрением,
не временем измерен он, а зрением.
И самый краткий, зимний, как с повышенной
температурой, длится, нескончаемый,
дыханья чёрен островок, продышанный
в окне, где человек мелькнёт нечаянный.

Чем долгодень? Подробностью мельчайшею,
кота ленивой поступью мягчайшею,
дымком под линзой, солнцем, в конус собранным,
листочком календаря, неровно содранным,
установленностью в точку, взглядом медлящим,
оцепеневшим, впившимся, несведущим,
пред каждой вещью огненно немеющим,
без мысли мыслящим, без веры верящим.

Вечерним вечером ли, утром утренним —
ребёнок в созерцанье целомудренном,
плывёт ангинный жар и свет малиновый —
без чувств горячий, без молитв молитвенный,
он собран в вещество такой материи,
где время, точно мышшь, скользнёт и выскользнет...
Потом произрастут волчцы и тернии
и ветер тот дымком под линзой высквозит,

потом взойдёт бесстыдный, расхрабренный,
тщеславный человек, сорняк пробившийся,
искусством одержимый и завистливый,
разящий беспощадной правдой вызленной,
а с ним взойдут признание и увенчанность...
Вот человек, в союз пророков принятый,
забывший, что смиренность и застенчивость
есть высший дар, по слабости отринутый.

ЭЛЕГИЯ. КУЗИНА В 1973 ГОДУ

Весна. Трамваи катятся под горку.
Горнист. В подкорку.
Командирован в Звёздный, я в Москве.
Иду к кухне, чуть позднее — вдове,
потом — бесследно умершей в больнице,
за «Соколом»-метро, не в Ницце.

Останется сын Константин. В подкорку.
Ты помнишь генеральную уборку
и повсеместное мытьё?
Зеленолиственное по ветвям дутьё.
Иду. Однажды в раннем детстве, летом
нас положили спать валетом.

Ночь. В Евпатории янтарной.
Я брат твой, с опозданием благодарный.
Валетом. То-то я годам
к двенадцати искал в колодах дам.

Пикóвых ли, бубновых ли, крестовых,
а более всего — червовых.

Ты козырь дядьки. Университета
студентка. Математик. Ты воспета
в хвастливых монологах. Задран нос.
Он вскоре умер и унёс
гордыню в смерть. О, тётя Доба.
Добрейшая. Любовь всегда — до гроба.

О, гром литавр! О, эта колесница!
Хоронят главного евпаторийца.
Главу горкома. Полдень раскалён.
Колодой он лежит. Не королём.
Горком. Партком. Трудящиеся массы.
Мясопотамия. Умеры. Мясо.

Гроб. Вот бездарности образчик.
Чья мысль ты — положение во ящик?
Весна. Распахновение одежд.
Не оправдавшая надежд,
ведёшь бухгалтерский учёт в конторе.
Но дядьки нет, а то бы горе.

Сластёна, краснобай и щёголь,
он походил на взбитый гоголь-моголь.
Да. В гоголевском смысле. Сахарок
накапливал, пока не вышел срок.
Да. Диабет. Но был он жовиален,
любитель жён чужих и спален.

Весна. Вечерний воздух. Варят трубы.
Трубит горнист, вытягивая губы.
Счастливец не узнал, что дочь сошлась
со сварщиком. Что заварилась связь.
Что закалилась сталь и что со света оба
сживали тётку. Бог мой, тётя Доба!

Пришёл. Звоню. Не открывают дверь мне.
Как много терний!
Через них мы рвались к звёздам Константина.
Вы ж зачинали в то мгновенье сына.
Что будет с ним? Как сокол, воспарит
и общий ужас повторит?

ИЗ ЛИДИИ ГИНЗБУРГ

Что там — январь ли, март?
Гибнет блокадный хор.
Вот он, точный стандарт
жалости, горя, ссор.

Ближний сердцу не мил.
Тут не музыка сфер —
рациональность сил
и принятие мер.

Ближний вшами зарос.
Скоро ль ему конец?
Надо ставить вопрос
по-научному, спец.

Нет любви у меня.
Есть ответственность за
жизнь, если ты родня.
Плюнуть бы ей в глаза.

Это такой загон.
Функция, сущность, факт.
Это такой закон
и ритуальный акт.

Это буквальность, в рост
смерти. Её творя,
входит Каменный ГОСТ
сжатого словаря.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО

Как пробирают они — до дрожи: рельсы,
шпалы, туннели, речные мосты, пути,
будки стрелочников, курганы, бельцы,
брянски, курски, пустопорожные
грохоты, вокзалы, «ручку позолоти»,

с бельмами изоляторов, как слепцы,
идут столбы, цепляясь за провода,
возле шлагбаума промелькнёт подвода,
орски, сызрани, новгороды, ельцы,
«спичкой угости, молодой, да?»,

деревенские дети, разинув рты,
смотрят на поезд, кофты, платки,
сага промасленных пирожков, палатки,
электростали, дербенты, орлы, читы,
«красивый ты, но есть у тебя враги,

чёрное у них на сердце, есть одна
дама треф, сжить тебя хочет со света она,
дай карманную денежку, я её заговорю»,
только железнодорожного полотна
дóроги образы и штрихи, дарю,

как пробирают вот эти, где ты и я
жили, художником не прописанные края,
невинномысски, шахты, кански, ухты,
рельсы, туннели, пути, речные мосты,
«видишь ниточку — это душа твоя».

ПО-ВЕСТЬ

Помню, шагом шел нетвёрдым в одиночестве негордом
и забрёл — за коим чёртом? — по пути в крошечный бар.
Бар напрасный, бар случайный, жизнь, зачем судьбою тайной...
От тоски ли чрезвычайной и семейных дрызг и свар
я набрался как сапожник и услышал сквозь угар,
как в окно влетело: «Карр-р!»

Карр-р. Карета. Некто в чёрном, взором огненным и вздорным
озаряя ночь, проворным жестом вынув портсигар,
в бар вбежал и сел напротив, но погоды не испортив, —

я, как если бы юродив был, легко держу удар...
Сел и сел, сиди с дедалом, с неба рухнувший икар.
Тут он рот разинул: «Карр-р!»

Ну и что? Я не в обиде. Жизнь прошла в нетрезвом виде,
и кому сказать «изыди!», если сам себе кошмар?
Бар, прокуренный и чадный, пересыпан непечатной
бранью мерзкой и надсадной, воздух — смрад и перегар...
Всё ж в реестре преисподней бар не худшая из кар.
Сотрапезник рявкнул: «Карр-р!»

Я спросил: «Придя оттуда, где, навалены как груда
или поданы как блюдо, мы мертвы, и млад и стар, —
свет пролей — на самом деле мы мертвы, когда не в теле?
Есть душа, о коей пели и поют, ценя свой дар,
менестрели? Эти трели — правда или же товар?»
Он кивнул и молвил: «Карр-р!»

«Если ж есть душа в загробном мире, телу неудобном,
в состоянии свободном *лучше* ль ей? И *что* там — пар
млечный? ангелов ли пенье? — не испытывай терпенье! —
света параллелепипед или звука белый шар?»
За окном сирена взвыла — на пожар промчалась сар.
Призрак, выпив, вскрикнул: «Карр-р!»

Я в ту пору жил на Pelham, был декабрь, несло горелым,
надвигалась баба в белом, я забрёл в кромешный бар,
где с таинственным собратом, чернобровым и крылатым,
расцепляясь точно атом, пил не то чтобы нектар.
Алкоголь — мой горький фатум. «Карр-р! — в проезжем свете фар
гость мой дважды гаркнул. — Карр-р!»

«Где мой первый друг бесценный? — я воскликнул. —
Что за сценой?

Говори, бродяга бранный!» — Но бродяга с общих нар
встал и подал знак, чтоб следом шёл за ним я. Верно, ведом
путь ему... И за соседом я ступил на тротуар.
Две парковки, три заправки, супермаркета амбар...
«Что замолк ты? Каркни!» — «Карр-р!»

Шли и шли. Снежинка косо пролетела возле носа.
Ни единого вопроса больше не было. Футляр.
Человек в футляре. Узость взгляда есть, по сути, трусость.
Изворотливость, искусность, — вот и весь твой скудный дар.
Современный борзописец мне кричит: «О чем базар?»
Отвечаю кратко: «Карр-р!»

Кар-навал окончен вроде. С общих нар — и на свободе,
рифма ей — на небосводе. Вот свеча, а вот нагар.
Вот дымок — смотри, он тает. Вот восток — смотри, светает.
Слово чистое витает, открестясь от чёрных чар,
и округа обретает ясность черт. Не слышу «карр-р!».
Что-то я не слышу «карр-р!».

Помню, шагом шёл нетвердым за притихшим, помню, чёртом,
помню, мы пришли на Fordham*. «Кто ты есть, скажи, фигляр?»
Ничего мне не ответил, только стал прозрачно-светел,

* *Fordham* — во времена Эдгара По сельская местность, где поэт
провел последние годы жизни и написал «Ворона». Сейчас рай-
он Бронкса; примерно в часе ходьбы от него — Pelham.

и тотчас, как я заметил, рассвело среди хибар.
Небо ожило, и ветер вымел все тринадцать «капп-р!».
Здесь твой дом. Прощай, Эдгар!

ЭТЮД

От хрустальных люстр,
занавесок-тюль,
покрывал пикейных,
от декабрьских утр
хладнокровных пуль,
от спецов тупейных,

от причёсок тех:
чёлочек и каре —
да чулочков в рубчик,
шапок — рыбий мех,
дров в сыром дворе,
прописей и ручек

да от санных полос,
от резца-сверла,
в зренья втравленного,
набежавших слёз
ноша тяжела,
сердца сдавленного,

от кошёлок тех
да клеёнок кухнь,
рук в муке, передников,
инженеров-тех.,
птичек вышь и ружнь
да воскресников,

от халтуры — гипс:
пионер-салют,
на плече дитя, —
от заборов с «икс,
игрек...» слова зуд,
вот и цедится,

вот и цедится по строфе,
по одной, по две,
ветер, стадион,
фильдеперс, галифе,
голо голове,
май, тюльпан, пион.

ГОРОД-ВАРИАЦИЯ

В автобусах, троллейбусах, трамваях
то лапки, то крюки массивных лапищ,
на выходе красотка, с ветром справясь,
смущённо оправляет платя парус,
а в небе — стаи перелётных кладбищ,

кричащих, вышитых крестом крылатым
над шестиречьем разветвлённой дельты;
вдоль набережной, пахнущей гуляньем,
проезжие колёса крутят сальто,
а вдалеке Исакий блещет золотом.

Советник, секретарь, купец, повытчик, —
сегодня их не распознаешь, театр
шумит, — швея, артельщик, регистратор, —
они из служб своих, как из кавычек,
выпрыгивают и флажками машут.

Сегодня будут состязанья в беге,
бенгальские огни, в балете эльфы
и феи, лотерея, — жизнь на лоне
природы, Петербург весь на ладони,
торгует пёстрой всячиной с телеги.

Вот гувернантки, разодевшись в тряпки,
с дитятами гуляют по проспекту,
прохожий потный пышет вроде топки
и с криком: «Улыбайтесь!» — исчезает.
Своих безумцев светлый город знает.

Он их несёт в корзинке лучезарной,
сплетённой из соломы солнца ломкой,
на дне брусничные брусчатки зёрна,
а между прутьев то Нева, то небо —
блеск облака и плеск воды негромкой.

ОДА ОСЕНИ

Когда всей раковиною ушной
прильну, в саду осеннем стоя,
к живому, чувствую душой
с землёй всецело феодальное родство я.
Тогда я завожу интимны
всепрославляющие гимны.

Бывает, что безмерно засмотрюсь,
заслушаюсь и мигом пылко
с жестоким миром замирюсь, —
я, высших милостей усердная копилка!
Чу! Тонкую тропинку, верно,
перебежала горна серна.

Уж затевает шахматы листва,
на тихий пруд слетая мелкий,
секунда в воздухе, чиста,
висит, как на флажке, необоримой стрелкой.
То осень, осень златовласа
ждёт окончательного часа.

Мы станем с ней ушедших поминать.
Ни золотых монет, ни меди
своей мне не на что менять.
Пусть боголюбые мне жизнь сулят по смерти, —
каким бы ни было жилище,
такой не будет духу пищи.

Не будет. Я всегда хочу домой, —
единственный бесценный дар мой.
Фрагмент ограды — струнный строй —
в развилке дерева мелькнёт горячей арфой.
Погаснет? Я и сам немею,
но быть не радостну не смею.

КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ

Давай, чахоточный Коптёлыч,
нюхнём и двинемся в поход
по светлым улицам, где сволочь
людская шляется вразброд,
минуем Невский без оглядки,
собою Биржу освятим,
а после в явочном порядке
Наташу с Лидой посетим.
Бумбяныч тоже знает явки,
он на Литейном, вечный жид,
букинистические лавки
в коротких брючках обежит,
а после — в Озерки (не спится!),
он руки в ноги — и в галоп,
а приглядишься — там копытца
и рожками увенчан лоб.

Стоит Поэт потёртым фертотом,
торчит фонарь, как буква «рцы»,
пианистическим концертом
звучат роскошные дворцы.
Над крепостной стеною розов
закат, Лавласа быстрый шаг
пестрит вдали, пока Философ,
в окно уставясь, молвит так:
«Я половое знал томленье,
но больше к девушкам не мчусь,
а скажет кто “совокупенье” —
я попросту расхожусь».
Осталось ли нюхнуть в запасе?
Нет. Возвращается, помят,
в свои простые восвояси
библиофил и нумизмат.
Коптёлыч, завтра там же сходка,
где белой ночи блёкнет пыл,
пока не съела нас чахотка
и Озерлаг не распылил.

ПИСЬМО ГОГОЛЯ

Едва приехал — слёг,
всквозь до печёнки,
трясаясь в некрепкой колясчонке,
в пути продрог.

От стылых ли камней
гнилого края
как воспалительность какая
в крови моей.

С утра кругом туман
да шум работный,
карман-то у людей неплотный,
пустой карман.

Перекрестясь, пишу:
пришлите денег,
жизнь выметает их как веник.
Я вас прошу.

Хотел скопить, но — чу! —
вдруг вижу платье,
а гардероб — моё проклятье.
Я не франчу, —

сюртук был сильно дран
под мышкой слева...
А я в ответ вам для посева
пришлю семян.

Увижу ли зарю?
Скажу без ячеств,
что существую не без качеств,
хотя хандрю.

Провозглашу как есть,
простите смелость:
в восторгновенье бы хотелось
свой дух привести.

Чтоб не сидеть порой
поджавши руки,
а пропестрить долину скуки
живой искрой.

За подвигом умру.
Прожить напрасно,
обравнодушившись безгласно,
претит нутру.

Для вдохновенных струй,
для сладкопенья,
о дух смиренья и терпенья,
любве даруй!

ИЗ ДОСТОЕВСКОГО

1

День сероват, но сух.
Но да ведь и октябрь.
Во-первых, дух
кладбищенский. И эта гарь.

Гарь мозговая. Почему
мертвец в гробу тяжёл?
Не удивляться — глупо потому,
что, значит, не нашёл

ты уваженья к миру.
Прилёг на камень я, налаживая лиру.

Здесь в самый раз с червей —
и это во-вторых — зайти.
Что может быть черней
земли, в которой взаперти?

О, смерти таинство! Я бок
с ней ó бок бы не лёг,
с задорной криксою, бобок,
бобок, бобок...

Иосафатова долина.
Супруги вопль и хнык болезный сына.

Вот в-третьих: лебезятниковый тон,
хоть и надворный
советник он,
и в гнусности проворной

мысль сладострастная: извлечь
из смерти жизнь,
но ничего уж не стыдиться, неч
теперь стыдиться укоризн.

И всё хихикают — хи-хи! —
и счётёц предъявляют из трухи.

В-четвёртых — девочка. А как
без девочки? Деликатес.
Доступный вождельный знак.
Конечно. Судя по цене-с.

И здесь разврата не избёг
(совсем убог!)
и мерзости, бобок, бобок,
бобок, бобок...

Тут я проснулся и прервал строфу.
ТЬфу, тьфу и тьфу.

2

Я что хочу сказать? Проникнутое.
Хе-хе. Гм-гм. А? Ну-тка, ну-тка.
Распрясть впритыкнутое —
а вот и нитка.

Дёрнь — и пойдёт напрасная
мысль виться,
пресладострастная,
слюною смоченная очевидца.

Вся подноготная,
вся грязь подробностей.
Хе-хе. Гм-гм. А? Вся негодная
жизнь с выпадением в загробности.

За сорок мне, а ей шестнадцатый,
плюс ощущение неравенства —
раскладец сладостный
мне, хоть и стыдно молвить, нравится.

В глазёнки глядя оробелые,
а чаще — волчьи,
я прожил сам с собою целые
трагедьи молча,

здесь бездна, и покаторь градусов,
и унижение
её прежалобно и радостно в
душе моей, до слёз и жжения.

Хе-хе. Гм-гм. А? Ну-тка, ну-тка.
Я победил, но не простил,
и горд с тех пор, и не на шутку
разбит, без сил.

Всё ж был бы я доволен суммою,
но как-то раз она несмело,
наверно, думая,
что я отсутствую, запела.

А раз поёт, меня кольнуло,
то от меня свободна, — бесья
прельстительная мысль прильнула:
самоубейся.

В Булонь, в Булонь, всё наготове,
но выжег грёзку,
а крови с горстку, с горстку крови,
да, сгорстку, сгорстку!

3

Мне рай привиделся, не наша требуха,
не дно, не вязкой жизни ил,
там жили дети солнца, без греха,
я дал им знание — и развратил.

Они узнали культ небытия,
о, ради вечного успокоенья
в ничтожестве, в смиренно-гордом «Я»...
Потом они устали от растленья.

И вот: страдание есть красота, —
так вывели они, а я их землю,
столь ими осквернённую, — о да,
я кротко полюбил и лишь её приемлю.

АПОРИИ

1

Жизнь вынашивает воспоминание
о себе, как мать вынашивает дитя, —
замедляет ход, излучает сияние
и почти навёрстывает себя, хотя
черепаха была и пребудет чуть впереди
Ахиллеса (и это щит его и его пята).
На часах двенадцать, но без пяти,
скоро, скоро, а в сущности — никогда.
Только всю воссоздал, а она ушла
на шагок, не успеть за ней, не успеть.
Бесконечной задуманная, светла
вспоминанием. Невозможна смерть.

2

Едва касаюсь лезвия болезни
в младенчестве, когда впервые страхом
дохнуло, миг — и зарождаюсь в бездне,
в сцепленьях с миром находя себя по крохам.
Но чуть продлюсь там — и уже потерян.
Стихотворенье движется напрасно,
и надо возвращаться к тем портьерам,
слегка колеблющимся, не рифмуя праздно.
К волчку, к вращению его с завывом
и выбегом из яви — грани стёрты,
к тому, как чахнет и, качнувшись криво
туда-сюда, ложится на бок, полумёртвый.

Последовательность движенья — призрак,
стихотворенье движется к началу
себя, в своих младенческих капризах.
Путь непреодолим, я в нём души не чаю.

3

Я почувствовал: скоро. Тихо
дверь прикрыл и сбежал во двор.
Там, натягивая тетиву к уху,
с самодельным луком стоял Тевтар.

И стрела, рванувшись, застыла.
В сонном страхе вернулся: дверь
приоткрыта, за ней — затылок
и спина — с носилками пятится санитар.

Непосильный позор. Всё ближе.
Мёртвый груз прикрыт простынёй.
Мне хватило б раза. Но вижу
бесконечно: недвижно летит стрелой.

ПЕРИФЕРИЯ

Мастер чудных периферий,
в путь, не дрейфь!
Слокенбергий-друг*, говори,
полагаясь на дрейф.
В три плафона вдоль улицы фонари,
так что дама на ней — дама трэф.

Вот как раз с неё — не зайти ль?
В путь, артист,
всё в сравнении с ним — утиль,
этот, в частности, лист,
где лежат штабелями строки, и стиль-
человек (он же — пыль) так цветист.

— Прежде чем я открою тайн
тайну и
прояснится вечер, туманн,
и вопьются твои
очи в зерноуборочный тот комбайн,
что высится на краю земли,

* Слокенбергий — персонаж из романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Этот вымышленный Слокенбергий написал вполне абсурдную повесть, которая приводится в книге в переводе с латинского (перевод выполнен отцом главного героя). Повесть о том, как некий господин едет к своей возлюбленной с Мыса Носов, где приобрёл нос необыкновенной длины. В «Периферии» он мимоходом «скрещён» с героем повести Гоголя, где нос у майора Ковалёва, наоборот, категорически отсутствует.

ты глотнёшь — видишь дом? — сполна
жизни в нём,
а чуть смоев его волна,
всё предстанет как днём, —
расфуфыренная, шепнула она,
и за ней я скользнул в этот дом.

А войдя, потерял очки,
сунув нос,
Слокенбергй, в пыль, — лишь «апчхи!»
по дому разнеслось,
и с дверей сорвало косые крючки,
и забил из щелей свет вкривь-вкось.

Как за первой дверью — кишмя
тварь кишит:
леопард таится плашмя,
гад шевелит самшит,
да по дну краб гребёт, за клешнёй клешня,
да стрижом небесный свод расшит.

Чем хищней, тем изящней тварь,
тем острей
клык и коготь, грознее ярь,
зорче глаз, — о зверей
и тропы звериной огненный тропарь,
рей в раскалённом воздухе, рей!

Как за третьей — нос к носу два,
оголясь
до последнего, существа
сплошь исходят от ласк,
вкрикивая друг в друга, ища родства,
нежности под пружинный разляг.

Разодевшийся в пух и прах
господин —
за десятой — цох-цох, цах-цах! —
он такой здесь один,
чтоб на муле верхом в атласных штанцах,
при гульфике и носе в аршин.

А ему навстречу майор
Ковалёв, —
весь без носа (что, Колька-вор,
не хватило носов?)
Не обман ли зрения мир, что за вздор?
Ускользящий что за улов?

Люцифер-опус-ляпсус, сгинь!
Эпцетум,
поркус блигва гатис дзынь-дзынь:
оби цвинатас вум,
изалис кримус — рассус миксио тбинь.
Ди, талем авэртитэ казум!*

* Di, talem avertite casum! — «Боги, отвратите такое бедствие!» Строфа символизирует смешение языков, за которым следует потоп.

Тут и прынул гопот — бегут! —
шлёп и соп,
скопом, скопом — и толст, и худ,
и монарх, и холоп,
присмотрелся — и звери куда-то прут,
и по топоту понял — потоп!

Я насмелился — и в окно...
Где земли
край, обещанное зерно
(дом-то смыло!)?! Нули
то поднимаются, то идут на дно —
ими голод свой и утоли.

Сердце, взятое на испуг,
длит толчки.
Но хоть сдохнь — ничего вокруг.
Потеряв ли очки,
я остался с носом, Слокенбергий-друг,
даме треф проиграв в дурачки?

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1. ОДНИ

Соберём хворост прошлого,
эту хворость, где нет ни тебя
со мной, ни меня с тобой, — проще ли
было, когда судьба, темня,

выбирала тех, с кем нам легче,
пока не легла, радость моя, на плечи?

Соберём, чтобы сложить костёр, и
пусть горит огнём он, ломая пальцы,
а когда сухая листва, как скорый,
пронесётся, испепелясь, по ветке, — скитальцы
прошлого, мы друг друга
разглядим без испуга.

Так на платформе внезапно двое
остаются, осиротев на долю
секунды и потеряв родное,
осторожно пробуя новую волю
и замечая, что уж теперь они
совершенно, радость моя, вдвоём одни.

Ты нежнее мысли о нежном. Если
тьма загробная — тьма и только,
то отныне частица ли света, весь ли
свет, тобой зовущийся, там надолго,
на всю мою смерть, и значит —
навсегда, потому что бессмертно начат.

2. ПРИГОРОД

Окраины рана открытая,
канава, пикник в лопухах...
О, недаровитая
жизнь, вся впопыхах.

Газеты неновость вчерашняя,
жаровня, запчасти, гараж,
и вывеска страшная —
в лоб — «Шиномонтаж».

Окалина вечера, скудное
строение — серый вывих,
любовь многотрудная
у этих двоих.

Кому или кем они преданы
когда-то бывали поврозь?
Прочь, тема запретная,
ты храмина слёз.

Закатное небо раскрыто.
Любовь во спасение, в ней
всё так и устроено,
чтоб было больней.

Исчадие жажды и жадности,
любовь, где с исподу видны
подпалины жалости
и шрамы вины.

3. ОН

Ему с ней одиночей,
чем одному, но так
в два раза путь короче
до стихотворных благ.
Она чужей чужого,
но всё-таки она,
как выстраданность слова,
равна ему, родна.
Он знает только с нею,
что есть особый свет —
в нём жизнь его крупнее
любви. Которой нет.
Любовь всегда на грани
разрыва, потому
что от безумных маний
покоя нет уму.
А у его простора —
тишь, память, горечь-речь
и глубина, которой
никак не пренебречь.
Ну, выстраданность слова,
пока крепка строка,
описывай чужого
родные берега.

ПОСЕЩЕНИЕ

Ночь декабрьская, холод.
В отчий дом захожу.
Я, старик, ещё молод.
Свет тускнеет в прихожей.

Из столовой отец,
сбоку выйдя: «Трагедия
в нашем доме», — и тень
к тени, две на паркете.

Мать выходит потом.
«Что стряслось?» — замираю.
«Мы вчера, — впалым ртом
говорит, — оба умерли».

Прохожу. Вижу: в спальне
мать у зеркала молодая
прихорашивается, шаль
на плечах, ни следа

смерти, рядом отец —
то обнимет её, то смеётся,
слышу скрип половиц,
белый свет на них льётся.

ОСЕНЬ

Лечь в квартире пустой,
глаза закрыть.
Был талантливый, не простой...
Время убило прыть.

Кем притворялся ты
лет пятьдесят,
рифмами наводя мосты?
Пересчитать цыплят

самое время. Покой земли.
Только в стекло —
ветка, — мол, за тобой пришли.
Оно и пришло.

Как узнало ты адрес мой?
Даром следы я за-
метал, не приходил домой,
менял адреса?

Даром? Нет его.
Молодому оставь
погремушку часа рассветного.
Ночь наступает. Явь.

Хлеб не тело, вино не кровь.
Образ отшелуши.
Не говори, что в душе любовь,
там ни души.

В изморози поля.
К нулю сползла
температура. И ты с нуля
начинай, не со зла.

ПЕРЕД ОТЛЁТОМ

Вот он, огненный тамбур, —
здесь с тобой выпивал я не раз.
Это гамбургер, варвар,
это чизбургер, френч твою фрайз.
Здесь я захорошею
и увижу, как в чёрном окне,
лебединую шею
изогнув, проплываю вовне.
В чёрном космосе — жёлтый
куб «Макдоналдса». Музы поют.
Что искал, то нашёл ты, —
чудной жизни последний приют.
Так давай же потешим
душу, глядя на звёздчатый лёд, —
это счастье в чистейшем
виде взято тобой напролёт.

РОМАНС НА ОДНОЙ НОТЕ

Вдруг в ночи он забрякал
на гитаре, романс затянул,
и заплакал навзрыд я, беззвучно заплакал,
как на горле петлю затянул.
Потому ль, что сердечно
он фальшивый мотив выводил
и так нежно, так нежно и так человечно
к свету Божьему не выводил.
Что ж, что выпала решка...
Мне ль плацкартной тоской исходить
и чуть что выходить покурить? Что за спешка,
если скоро совсем выходить?

ШЕКСПИРИАДА

Сергею Жадану

На сцену, мальчики, я запускаю глобус,
шекспировского мозга чудный образ!
Всем серым веществом вы, облака,
сорвавшись с мест, развеите скорость мысли!
Эй, мальчики, в какой вы бочке кисли?
Где карта дней? Сыграем в дурака!

На сцену, праведники, прохиндеи, ведьмы!
Ударим в гонг, и если гонга медь мы
разгорячим и расхрипим на все
лады, склонив её к разноголосью,

то колесо событий скрипнет осью.
Где белка, чтоб вертелась в колесе?

Эй, палачи, на сцену! Скрутим в рог бараний
свободу, площадной отвесим брани
галантности, наукой устрещать
потешимся! Куда вы, горожане?
Рабы, тащите хворост, чтобы Жанне
д'Арк ярче было сцену освещать!

А вот и плаха! Пей горластый воздух горний,
поднявшись на помост! Мир — живодёрня.
Скользят в крови постыдные стада,
бездарность алчет мести и клокочет,
порок в чести, пророчица пророчит
и, стихнув, говорит: «Я жить сыта».

Твою любовницу убьют, трусливый ратник.
Развратница, погибнет твой развратник —
не всё тебе, мужеубийца, рай.
Стук в дверь. Никак Орест пришёл с Пиладом?
И тот же по Макбетовым палатам
несётся стук — привратник, отворяй!

К вам, недоноски всех мастей, сыны рептилий
и крыс, которых в жизнь недородили,
из тени Клитемнестры выйдет тень
отца великомученика-принца.
«Что? Крыса? А не хочешь ли гостинца?»
Вот окорок — крюком его поддень.

На сцену, шваль! По вашим душам, отморозки
и шлюхи, не кудрявые берёзки —
осины сохнут. Ты ещё в парче?
А ну как поменяешься ролями
с тем, кто своими давится соплями
и смрадно тонет в собственной моче?

На сцену, мальчики, пусть не избыта скверна,
и серный облак далеко не серна,
и ломятся от мёртвых яств столы...
Пока есть Ариэль на небе звёздном,
Бирнамский лес идёт не в переносном —
в прямом стволовом смысле на стволы.

СТИХИ

Я искал, где они ютятся.
В магазины ёлочной мишуры
заходил, засматривался на шары
(да святятся!),

в вечереющем ли предместье,
ноющем как укол
под лопатку, в неоновых окнах школ
(много чести

месту пыток, где ходит завуч
с тощим на затылке узлом,
в костюме, стоящем колом),
в парке, за ночь

ставшем чистой душой без тела, —
точно зрение оступилось в даль
и наклонная птица диагональ
пролетела,

я искал их на Орлеанской
набережной шарлеанской и в том
великодушии (с поцелуем-сном,
его лаской), —

в том единственном, пожалуй,
за что можно ещё любить
(так чувствовал Сван, готовясь забыть
жизнь, усталый),

в море, шуршащем своим плащом, —
вдоль него вечно бы с тобой брести! —
я искал их, не видя смысла, прости,
больше ни в чём.

Ночью вздрагивал, шёл на шорох,
память перерыл, как рукопись, вспять,
и когда отчаялся их искать,
я нашёл их.

СТЕСНЁННАЯ СВОБОДА

Книга Александра

ПРОЛОГ

Ни о чём не расспрашивай.
Не заглядывай за
край. Закрашивай
холст. Не мучай глаза

бездной. Правды не вытерпишь,
света. Слезы твои
ветер вытер. Тишь
обитанья. Твори,

то есть прячься от ужаса
видеть мир до себя.
Кто там? Уж, оса
(рифма, рифма!), — слепя,

та, которую любишь, — там,
где тебя ещё нет.
Воплощенью, снам
страх доверь свой, вослед

Всемогущему: холст и кисть,
стихотворчество. Крась
иль разговорись.
В стих и в живопись страсть

всни. Подобно Творцу. Не мог
видеть то, что любил,
не *владея*, Бог.
Безучастным нет сил

быть. Пчела, георгин, зрачок,
та, которую стих, —
страха в жизнь толчок:
надышаться! — настиг.

1

когда из двух углов из двух углов
друг к другу бросятся
одежды вороха
зверь двухголов

когда из двух углов из двух углов
друг к другу бросятся друг к другу
одежды вороха обрывки слов
одежды вороха обрывки слов

когда кричат кричат
как бы до этого не быв
изнанкой кожи ознобив
ночное небо с выводком волчат

как сдёргивают кожуру
и апельсина эпителий
тот белый хоботок меж долек в теле
не помнит выдернутый жизнь жару

так те разлепятся на локоть
ступню на локоть на ступню
теперь взгляни безумный сквозь стекло хоть
ты сотворил их значит знаешь похоть
на мёртвую свою стряпню

пыль улицы гони гони пыль
закручивая смерч дворов
нет ничего естественней чем гибель
когда из двух углов

2

Яхты, яхты, солнце, как ты тиха, —
тише ночи из ненаписанного стиха,

стружка свежая чайки летит с небес,
рыбный рынок, серебряный чудный вес,

лет пятнадцати, ночью, в другом краю
я служил за Лию, сестру твою,

за твою двойницу, нам сад был кров,
и томление неутолённое злило кровь,

может быть, та скатерть, развёрнутая в ночи,
свой узор подставила нам, сличи:

лесопильни стружка, и всплески рыб,
и деревьев мачты, их перескрип, —

обернулись солнцем, яхтами и тобой,
это кровь прихлынувшая, её прибой,

и твоя готовность утратить вдруг
описавшую непорочный круг

жизнь, совпавшую с жизнью здесь,
чтобы я любил тебя вдвое сильнее, чем весь.

3

Вот гора, вот блик, гора, блик
солнечный на ней,
вот кора, вот блик, кораблик
из игры теней

спущен на море, чуть розов
разогретый тёс,
в паутине мачт и тросов
паучок-матрос.

А над ним овечий облак,
за которым сон
мчит Ясона в край, где облик
обретает он.

День — мужского рода, день — лишь
воин, взявший меч,
тот, с которым шкуру делишь, —
не любовь и речь.

И покуда вьётся лента
за кормой волны,
блещет лёгкая легенда
икрами войны.

Но кораблик твой затонет.
Паучка убьют.
И тревогой сердце тронет
первородный труд.

День привычно разевает
пасть ещё, но в нём
зреет ночь и прозревает
женственным огнём.

Женский род нежней и кротче,
потому — сильней.
День причаливает к ночи,
к гибели своей.

4. ДВЕ ПЕСНИ

Мужской голос

Всё. Чик-трак. Чертог,
эту хлябь и твердь,
на амбарный замок
запирает смерть.

«С» и «м» как «съем»,
мол, считай до ста,
«р» и «т» — будешь нем,
не разявишь рта.

И спокойно в «е»,
то есть в скважину,
ключ вставляет портье
напомаженный.

В чёрной паре он,
на руках бельё,
прядью посеребрён,
а в глазу бельмо.

«Ад тебе и рай,
рад тебе и ай,
ай, да что за сарай...» —
он бормочет, знай.

Женский голос

Он приходит, там
у стены сидит,
мёртв не по годам,
и за мной следит.

А закрыв глаза,
вижу: он в гробу,
где дышать нельзя,
от губы губу

отлепить нельзя,
не шатнув толпу.
Грим блестит на лбу,
на щеках, на лбу.

Как внутри темно
камню (но темней),
так ему темно
двадцать девять дней.

А идёшь на дно —
всё, воде видней.
Камень канет, но
без кругов по ней, —

«Постоялец где,
постоянец твой?» —
«Он нигде и везде,
не найдёшь, хоть вой.

Как со всем живым
совпадёшь хоть раз,
приходи со своим
барахлом до нас.

Отопру я на
человечий лай
твой, впущу — и хана.
А пока — гуляй».

как во сне. Из двух
если мёртв один, —
сна двуликий слух
и спасёт один.

Потому что сон —
эхо жизни — впрямь
к смерти обращён,
и хоть яму ямь.

Потому что сон —
эхо смерти — вспять
к жизни обращён.
Поздно. Время спать.

5

— Двое смотрят на меня детей
из своих смертей,
с двух неярких звёзд,
как птенцы из гнёзд,

двое смотрят на меня детей, детей,
небо звёздное — испарина смертей,

это Полидевк, а это Кастор,
это Орион, а там Плеяды, —
астрономия горящих астр.

О каких ты говоришь страстях,
ревности-любви ты о какой,
обезумевший слепой шахтёр с киркой,
высекающий свой страх?

Он теперь не на *таких* костях —
остов мира костною мукой,
мозгом склеен двух детей моих,

о каких ты, о каких,
оглядись — покой, оглядись — покой,

мёртв Ясон,
нет ни его, ни их...

.....

Есть две лодки Млечною рекой,
две плывущих Млечною рекой
глаз её колхидских, гаснущих
под её рукой.

6

Закрывать лицо рукой, лицо рукой,
чтоб ты не видела вовеки
гримасы боли, горя — никакой,
иль, боже упаси, влажнеющие веки.

Стой как стоишь, ты навсегда ясней:
ни прошлого, ни будущего vsue —
ни дикого их мяса, ни костей —
не упомянешь, всем лицом пустуя.

Ещё яснее так: скульптура двух, —
прямые нити между ними рвутся,
и камень здесь уместен: гол и сух.
Окликни их — они не отзовутся.

Лишь гул того, кто призраком томим, —
он знаков ждёт — но чьих? — богов? комет ли? —
и тишина, не понятая им.
Она — ступив, и он — позорно медля.

7

Это, остановленная горем,
женщина под тенью трёх смертей
медленно сидит, античным хором
вторит, вторит вторящее ей.

Нет людей заботливых и страшных,
отводящих в сторону свой страх,
ты и сам из комнат умиравших
уходил, не мешкая в дверях,

и признайся, разве не дышалось
тем жадней на улице, чем там
сердце сокрушительнее сжалось.
Хор оставь деревьям и цветам.

Или попросту стене, поскольку
хор есть эхо горя, немоты,
женщины, которая умолкла
и которой недостоин ты.

И за это ты однажды выйдешь
в тот же сад, на те же голоса
и её смеющейся увидишь,
пьяненькой, забывшей всё и вся.

8

Если свет, доходящий с неба, —
свет погасших и прошлых звёзд,
то для них мы — будущее, и встречно-слепо
в грозном зигзаге зелёном лета
горсть осязает гроздь.

Чуть запаздывая, не поспевая
за световым лучом...
Только нежность аэда слепая,
сквозь черты его проступая,
сплошь продрогнута дорогим лицом.

И когда творится любовь двоими,
то её забвенья сродни
устранению времени с его мнимым,
обращённым вспять, — и вперёд гонимым
и реальным ходом, чтобы слились они

на мгновенье. Но если это исчезнет,
называемое «ты» и «я»,
пропадёт совсем, никогда не воскреснет,
если даже небо не вздрогнет и не надтреснет,
то Господь безумен, радость моя.

9. ЭВРИДИКА

Она оборачивается и думает: «Если он
увидит преследующие меня тени
любимых, которыми населён
Аид...» Оборачивается к новой теме.

«Увидит, что вполоборота иду,
что предана мёртвым, что большего чуда,
чем с ними остаться... — он не осилит ту,
предписанную ему, и рванёт отсюда».

Тогда он сбавляет шаг, ощутив спиной,
спиной, и затылком, и целиком — всю тяжесть
тоскливую. Она говорит: «Родной» —
кому-то, и он оборачивается, отважась.

10. МЕДЕЯ

Если б море могло заменить в себе
«м» на «Г», то оно бы стало тобой.
«М», подобное верхней детской губе,
на песке нежнейшее, смысл приборой.
Небо, небо ночное, плащом темноты убой
моря гул голубой.

Если б горе «е» заменило на «а»,
то оно бы стало тем, что ты есть:
молчаливым криком, когда слова
стеснены, как камни, в недвижный вес,
но, срастаясь тяжестью естества
с почвой, высят весть.

И когда ночнеет, углы углят,
это значит, что, свет изрыв,
потемнел, чтоб рыскать в потёмках, взгляд,
там, где не был он ещё, и прилив
плачу, плачу колеблем в лад,
и когда, не забыв

ни на миг исчезнувшие голоса,
ты молитву шепчешь: «Верни, верни!» —
расцепляя сдавленных слов веса, —
вот тогда рождают Бога они,
и на небе младенческих лиц роса
зажигает огни.

11. АЛЕКСАНДР — МЕДЕЕ (1)

Как ты врезана в воздух — не отвести
глаз: подобно лучу стоишь
явной плоти, и надо сказать «прости» —
ведь не тень идёт от тебя, но тишь,

и спугнуть собою её нельзя;
потому что ревность, как злая рябь,
набегает, прошлому твоему грозя,
говорит: забвеньем его ограбь.

Если ж нет — то пусть из небытия
вновь умрёт оно, сгинет из темноты,
светом взорванной, здешней, где «ты и я»
не отличны, слившись, от «я и ты».

Пусть вторично пепел сгорит, и лёд
мёртвых недр вдвойне охладет в них,
пусть любовным криком твоим зальёт
дыры раковин, рытвин его ушных.

12. АЛЕКСАНДР — МЕДЕЕ (2)

Крик, встречный крик твоей любви,
Ясону встречный,
и есть мой ад, в моей крови
продолженный, Медея, вечный.

Мгновение с тобой, Медея,
горячка, ярость, —
месть прошлому. Но, не владея
им, признаю свою бездарность.

Тому, кого там нет, чей длится
любовный крик, —
рот не зажмёшь.
Ясон твой мёртв. Но он проник
в тебя, чтобы в тебя пролиться, —
навек. Сплошь.

Подсматриванье — униженье.
Позорных глаз
подзорный ужас
двух тел нежнеющих нежненье
увидит. Вас.
Убьёт и воссоздаст, разрушась
и озарясь.

Я, жрец и жертвенник, враг сводный
себе, сойдя
с ума от жертв
(кто мне судья? —
слепой бог ревности),
«да будет, — говорю, — Ясон твой
не мёртв, но мертв».

Так в слове выколоты очи.
Так в небе замер
их свет двойной. Так без конца

явь сдёргивает тряпку ночи
и обнажает белый мрамор
лица, лица.

.....

Мы встретились с тобой за гранью
возможного. Но всё, что есть,
нельзя ни отменить заранее,
ни предпочесть.

ЭПИЛОГ

Успокойся, это море, не сошедшее с ума,
свет и тишь в полночном взоре, это истина сама.

Успокойся, мой хороший, мой любимый, мой родной,
росчерк молнии над рощей нас обходит стороной.

О любви поют неверно, чувство — суть невелико,
потому что не безмерно и от правды далеко.

А безмерное бесстрастно. Как младенец. Над волной
замирают и не гаснут вёсла музыкой двойной.

Это значит, остановлен мужа гордого поход.
Кровля-кровь. Не обескровлен, человек-тростник поёт.

Не испытывай ни силой, ни любовью существо.
Чувство жалостливо, милый, — не испытывай его.

Гул морской, покуда клонит в сон тебя, к до-бытию,
белой ракушкой спелёнут в колыбельную твою.

С просторечием простора слух сплошной не различай.
Успокойся. Мир не скоро. Спи, себя не различай.

Школьный вальс

...Но где бы ни бывали мы,
тебя не забывали мы,
как мать не забывают сыновья...
Простая и сердечная,
ты — юность наша вечная,
учительница первая моя!
*«Школьный вальс». Слова М. Матусовского,
музыка И. Дунаевского*

ПОСВЯЩЕНИЕ № 1

Свежайшей книгой я порадую
тебя, мой друг, —
так флоксы радуют парадную,
вносимые рукой отрадную
для лучших рук.

Ты, кошка из подвальной темени,
позолоти
глазами в лабиринте времени
мой путь, как золотится в Йемене
песок пути.

Читай, мой преданный, не выпяти
дугой груди
себя, и ко взаимной выгоде
впади со мною в звук, и выпади,
и вновь впади.

ПОСВЯЩЕНИЕ № 2

Ты хочешь, мальчик, книгу счастья?
Бери, она
пусть разорвёт тебя на части,
а ты — её.

Ты хочешь, девочка, чтоб мальчик
про шалуна
тебе читал отмёрзший пальчик
или моё?

ПОСВЯЩЕНИЕ № 3

В моей столь памяти столь многое сохранно,
что — *что* куда девать?
Не знаю, друг. Бывает, встанешь рано —
и начинаешь людям раздавать.

1. МАТВЕЕВА, ЗОТИКОВА И АНТОН

Юноша в небе летит,
с дерева он сорвался,
яркой весны разгорается аппетит,
солнце весеннее, альясь.

С девочками двумя пойдём
за гаражи и снимем
трусики: с тоненьким петушком
я постою на синем

фоне небесном и погляжу:
лодочки девичьи!
Руки на лодочки положу.
Дни как царевичи.

Юноша в небе летит,
быть ему без селезёнки.
Кто там паяет и кто там лудит,
лесенки носят, и песенки звонки.

Кто петушков
лижет и ладит гирлянды?
Кто идёт из кружков?
Кто встаёт на пуанты?

Маленьких балерин
белые кости.
Переверни глицерин.
Праздник и гости.

Мальчик, себя мусоль,
членистоногий, —
выпадет белая соль.
Боже, прекрасны Твои дороги.

2. СЕРЕБРЯКОВ

...целует девку — Иванов!

Н. З.

А то ещё весна стократная,
и обморочных облаков
картина в лужах всеобратная.
Идёт домой Серебряков.

Два воробья сидят в числителе
на проводе, и, сократясь,
один слетает, чтоб не видели
его, в прожиточную грязь.

А тот другой ещё топорщится,
и водит тряпкой по доске
вдали забытая уборщица.
И жизнь висит на волоске.

Но как висит! Какие области,
Серебряков, какой просвет
под юбкою, какие полости
тебе обещаны, сосед.

Не ты ли вынимал под партою
проснувшегося воробья
и с ним затеивал азартную
игру, и восхищался я.

Весна стоит первосвященная,
и капли кровельных желез
стекают в рот. О, совершенная
жизнь, обретающая вес.

3. БЕЛОВА

Зажатие в углу Беловой,
дыханье рыбное её,
когда дракон многоголовый
шершавых мальчиков облавой
теснит орущее сырьё.

Каким томливым слабоумьем
тот многохвостый, тот дракон
живёт и пышет многогубьем,
и многолапья многогрубьем
задрать Белову хочет он.

И вот по позвонку от шеи
трещат крючки и с мясом рвут
сукно, о, тёмные аллеи,
в которых роют, плотью бляя.
Иван, я помню потный труд.

О, этот миг, когда, зажата,
сопротивление смирив,
она вдыхает пот солдата
из будущего, от обхвата
в себе почувствовав прилив.

О, этот миг, когда насилие
замрёт моей Беловой встречь,
и вот в углу с повисшей пылью
молчанье, солнце, изобилье
секунд, не могущих истечь.

4. АЛЕКСАНДР СТАРШИЙ

Выходит Александр-копьеметатель,
самоуверен, мускулист,
голубоглаз, он весь артист
замаха и прекрасных дам ласкатель.

Заворожён наклонный профиль далью,
рука откинута, разбег,
ног перебор, копыя навек
лёт быстроблещущей горизонталью.

И смотрит златокудрая: вальяжный,
идёт, закончив бранный труд,
а наконечник входит в грунт
плотномягчайший, травянистовлажный.

5. ШАРМАНКА (1)

*время — манная крупа,
крупные пакеты,
грецких шлемов скорлупа,
ёлочкой паркеты,
время шкафчик отворить,
сухари нашарить,
время вермишель варить,
шкварки жарить,
обвалить в муке желток,
вычесть в чашку,
в коридоре счётчик, ток,
в нём вращающийся*

6. ИВАН ИВАНЫЧ

И ты, Иван Иваныч, потихоньку
и помаленьку,
давай-ка с палочкой, навывкате глаза,
глаза навывкате (а дворничиху Соньку
и мужа Сеньку
запустим стороной, как бы гроза,

грозящая тебе, Иван Иваныч), —
на середину!

О Нестор, брызжущий слюною, похабелъ
для юных воинов дробливых, глядя на ночь,
воспенив ртину,
среди марта кутающийся в шинель,

давай, гони её сюда на сцену,
всади по локоть,
рукою руку преломив и сделав жест,
высвобождая юных воинов из плена, —
о, эта похоть —
воображенщина дробливых ест!

«Мой, — говорит он, — дядя самых честных,
когда не в шутку,
он по сих пор заправил дворничихе — так,
что дворник вытащить не мог», — от этих тесных
сношений чутко
вострились ушки и твердел пустяк.

«А то ещё, — он говорит, — с одною
идём на площадь,
а я моряк, а ночь и мрак, а девка смак,
и вдруг она на спинку бряк и вверх копною,
и ржёт как лошадь».
«У-у, — люто зыблется, — какой стояк!»

Ах ты, Иван Иваныч, ах, Амелин,
мудак в запасе,
ведь Сонька с Сенькою тебя подстерегли
в парадняке и задушили, Нестор-эллин.
Никто не спасся.
Нет дворников и пропиты рубли.

Но в небе юноша летит весеннем,
сорвавшись с ветки,
и копыеносец разбегается с копьём,
и по земле копьё несётся тонкотеньем,
и счастье в клетке
Серебрякова бьётся воробьём.

7. МАТВЕЕВ

Пошатываясь, капитан Матвеев
ширинку расстегнёт и, на луну
уставясь и струёй золотой проревя
во тьме, споёт ей «Широку страну».

Он весь из рюмочной, где пол-яичка
и килечку кладут на хлебец,
а после третьей вспыхивает спичка
и полон ум таинственных нелепиц.

Алёна-дочь с женою Софьей Палной
уж верно спят, уж полночь на дворе,
и вот уж капитан опальный
сам спит, храпя под мухой в янтаре,

на кухне, не раздевшись, в кресле,
развесив руки и головой опав
на грудь, — так вот он, крестный
твой путь, Матвеев, о, ты пьян и прав!

Сегодня ты решил задачу смерти,
забыв немедленно, как ты решил её, —
мелькнуло: так же с остановкой сердца:
стук — бытиё, нестук — небытиё.

И лёгкость словно бы надула китель
и вознесла тебя под облака.
Дочь-школьница, Матвеев-небожитель
и Софья Пална с видом на века.

8. ТАРХОВКА (А)

Произрастения земли
и солнца захождения
непреходящий смысл несли
за телоограждения.
Когда я с Юдиной вдвоём
стоял в полуобъятии,
тритон, замерив водоём,
лежал там как распятие.
И голубь, с Ноевых высот
слетев, всем Духом заново
явился Иордану вод
и зренью Иоаннову.
И он приноровил родство
своё ко мне бесценное
и вдунул жизни вещество
в лице моё, в лице моё.

9. ВЕРАНДА БЫТИЯ (а)

двери дверные
трели чудесные
скрипы лесные
звери земные
птицы небесные
рыбы морские

10. КЛАСНАЯ БАЛЛАДА

Вержиковский сидит за Покровским,
три колонки, да первый урок,
да слепым Николаем Островским
худосочно зачатый денёк.

За последнею партою Мосин,
он читает «Кон-Тики» тайком,
это ранняя, думаю, осень,
так что думаю я не о том.

Пусть к доске нынче выйдет Елькова,
пусть расскажет чего наизусть,
я на поле смотрю Куликово
за окном. Поражение. Грусть.

Извлеки мне двусмысленный корень
или в степень меня возведи,
душно мне, я в себе закупóрен,
возраст держит меня взаперти.

Вержиковский достанет свой ножик
и Покровскому в спину воткнёт
за Ларису Дьячук. Сколько ножек!
И ведь каждая линию гнёт!

И Лариса при ножках и с грудью,
и она возбуждает уже,
и склоняет людей к рукоблудью,
и любовь пробуждает в душе.

На собрании спросит директор,
осуждаем поступок ли мы.
Я не знаю, мне надобен вектор,
Вержиковский — мой друг с той зимы.

Ты на двух, говорит она, стульях,
Романовский, сидишь, говорит.
Стыдно мне, уж пушок есть на скулях,
а двуличен. В зеницах пестрит.

Осень туберкулёзная наша!
Ты, Измайлов, за лето подрос.
То-то, видимо, плакала Саша,
когда лес вырубали берёз.

11. ШАРМАНКА (2)

*в нём вращающийся
вращающийся с красной
меткой диска серебра,
с мельком цифры разной,
красный день календаря,
время отрывное,
время в стремя сентября,
в однокоренное,
просыпай секунды, сыпь,
как крупу, сквозь сито,
время-корь и время-сыпь,
время шито-крыто*

12. ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

Аллея
и дворик типичный,
линейка
у серокирпичной,

и астры,
их запах сентябрьский,
прекрасный,
как голос, Синявский,

футбольный,
твой голос плацкартный,
и сольный
проход Эдуарда,

и лучик
из зелени боком,
как лучник
с зажмуренным оком,

уклейка
в извиве горящем,
калека
в вагоне курящем,

и лето,
и, пыльный и бывший,
столб света,
вагоны пробивший,

взять на зуб,
на ощупь и зреньем
ту насыпь
с её озареньем,

и солнце
в песчаном разбросе,
как голос:
умножу, не бойся,

умножу
песчинки прилива,
и ношу
ты примешь, счастливый, —

и только
все грани мелькнули
осколка,
как нас умыкнули.

13. ФИЛОСОФИЯ I

Надо быть себя мгновенней,
чтобы подвиг совершить,
пусть решимость дуновений
ветра научает жить.
Всплеск души твоей не может
быть неправильным, душа
прежних мыслей не итожит,
умностью не дорожа,
и никто не господин ей:
ни философ, ни пророк,
проблеск в тонком слове «иней»
с ней сравним наискосок,
или вздрог вдоль слова «искра».
Ослепительно-ясна,
только проповедью быстрой
жизни высится она.

14. ИСТОРИЧКА

Агнесса Львовна кривляется,
передразнивая Иванова,
и окрыляется,
и кривляется снова,

она стоит подбоченясь,
и вокруг свеченье с
пылью мела,
Агнесса Львовна изгибает тело,

класс хохочет, урока
трать минуты, играй уroda,
в кубе воздуха тридцать три
человека с душой внутри,

Иванов с поршневою
возится ручкой, фрамуга
гарью залеплена с синевою,
и посматривают друг на друга

Коробейникова и Радостев,
не по возрасту радостев
половых знатоки,
да урчат в углах стояки,

да Агнесса Львовна,
Иванов она словно,
идиотничает в кривом пылу
жизни, да на полу

под доскою,
как солдат под Москвою,
тряпка лежит убитая,
окончательная, недаровитая.

15. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Спросишь ли, зачем фамилий
столько в книге и имён?
Я любитель избытков
исчезающих времён.
Скажешь ли, что ностальгия?
Нет. Я чистый лицедей.
Так считай же, до скольких я
довежу число людей,
восторгающихся ранним
утром, поздней ли порой
моим светлым дарованьем,
не закопанным в сырой.

16. ЦИКАДА

Двор, богиня, воспой с полукружием амфитеатра,
окнами нисходящего к саду с песочницей. Так!
Ночью становится он цирка ареной с незримым
карточным фокусником, раскладывающим пасьянс:

окна то дамою вспыхнут, то королём, то валетом.
Утром раззолотится в них солнце, залюбовавшись собой.
После уж Дмитрий в плесницах, подобно Гефесту, умелец,
выйдет и лук смастерит и остроконечные стрелы.
(Сына Петрова трусливопобежного как-то, прицелясь,
он поразит, и в прыжке над песочницей жертва повиснет
в пятке с Гефеста стрелой и с мольбой на устах о пощаде.)
Позже и Люся придёт, и они удалятся в глубины
сада, где нет никого, но однажды среди летнего полдня
я их увижу, лежащих в объятиях пылких друг друга:
быстро под ними земля возростила цветущие травы,
лотос росистый, шафран и цветы гиацинты густые,
гибкие, кои богов от земли высоко подымали.
Там опочили они, и одел почивающих облак
пышный, златой, из которого капала светлая влага.

17. ШАРМАНКА (3)

*деревянный гриб с носком,
время, мама, штопка,
папа, праздники, партком,
на комодке стопка
годовалая газет,
молоко на плитку,
повернуть ушко на свет,
послюнявить нитку,
за окном ночной трофеей:
мокрых листьев ворох,
точит когти котофей
на мышинный шорох*

18. ВЕЧЕР

На третье в ночь. И тут же, третьего,
иду, и где-то за спиной
брат и сестра плывут Терентьевы,
обнявшись в ласточке двойной.
Каток полурасчищен Сонькою
и Сенькой, деревянный шарк
лопат доносится сквозь тонкую
снег-пелену, и чуден шаг.
Вечерние и благосклонные
часы прогулок и гостей,
висят продукты законные,
промёрзнув до мозга костей.
На третье в ночь. О, вечер третьего,
и переулочек за Сенной
(Гривцова, что ли? да, воспеть его!),
и снег стеной, и снег стеной.
Со мною Леночка Егорова,
прекрасна и мгновенна плоть,
есть с чем расстаться мне, до скорого,
я говорю Тебе, Господь.

19. НОЧЬ

Чашки голубого снега,
северный фарфор,
послепраздничный ночлега
дом, и в окнах — двор,

лѐжа в радости простуды,
слышишь: ночь не спит
и под мѐртвый звон посуды
над столом висит,

над катком висит, и дальше,
и уходит ввысь,
спи, не слушай, мой редчайший,
гости разошлись,

а уж сколько было там их,
чудных, где, светла,
веселилась влага в граммах
рюмочек стола,

а уж сколько их топталось,
от подошвы снег
таял, таял, талость, талость,
разошлись навек,

светом из сосудов неба —
белого зерна,
медленных хранилищ снега
ночь — озарена.

20. ТАРХОВКА (В)

О Юдина, о полуобнятость,
уйдёшь, тебя недораздев,
и эту общую приподнятость
несёшь среди огненных деревьев.
О Юдина, часами поздними
я шёл домой и думал так:
запомню навсегда под соснами
вмягчающийся в иглы шаг.
И ты представь себе: запомнилось
не столько то, чем сердце наполнилось, —
веранда светит, как фонарь
китайский, и ночная гарь,
и зубки белыми ягнятами,
и мёд из уст твоих, и мёд
под языком, и ароматами
Ливана дышит алый рот.
И если бы не пошлость, родинку
воспел над верхнею губой,
как пел рождественскую родинку
покойный Сирина, бог с тобой,
и с Буниным, и с их лилеями.
Гуляя тёмными аллеями,
авось сумею прах добыть
и пере- нас -захоронить.

21. ПРОЦЕСС

Торжеств юнейших тел,
касаний их и трений
участник, я грубел
по ходу тех мгновений,
и проникал туда,
куда хотел проникнуть,
чтобы, огонь стыда
уняв, к себе привыкнуть,
ах, греческий божок
во мне другой разжѐг
огонь, труби, рожок,
и поднимай флажок,
ах, семяизверженье
прекрасно тем, что мозг
в нём терпит поражение,
расплавившись как воск,
чем жарче в черепной
коробке, как в плавильне,
тем и оно в цепной
реакции обильней,
тем изойдѐшь сильней,
переплавляя порчу
рассудка в жизнь и почву,
пресуществившись в ней.

22. ШАРМАНКА (4)

*время, шорохи на дне
дома, лампа, тѣмен
след от фото на стене,
мел каменоломен
городских, и снега мел
дуновеньем с жести
подоконника слетел,
козырь окон — крести,
за окном сизарь дрожит,
пригубивший пригубь,
да закатный луч лежит
как победный прикуп*

23. УРОК РУССКОГО /ЛИТЕРАТУРЫ

Реальность явна, как корабль,
входящий в порт. Непререкаемо.
Сверканием по борту капль
и разгребаньем грабль река ему.
Реальность видит, как смотрю
в её лицо, и так же пристально
глядит на явленность мою.
В упор глядеть она и призвана.
Четыре серых и весна.
На третье в ночь, и одноногие
в порту краны́ — цапль прямизна —

чуть в области травматологии.
И есть ещё ночной бинокль,
где мир един в своей бесценности,
как если б пострадавших вопль
возник в гудке басовой цельности.
Как цапли две воды, тот сноб,
похожий на тебя, — на выдаче,
как ты, получит каплю в лоб,
на грабли ставши Леонидыча.
И гласной праведной внушит
всему стихотворенью правильность
тройную, как втройне защит
кристалл в оправленность.

24. НА ДАЧУ

Ночная электричка с лязгом.
С искрой азарта.
У паровоза на Финляндском.
Ту-ту. До завтра.

Летят небесные атласы.
Лязг с нарастаньем.
У бюста Ленина. У кассы.
Под расписаньем.

Вагонная скамейка с лоском,
и в чёрном чаде
мельк полустанков. За киоском
«Союзпечати».

Союзпечали видеть тамбур
слеза мешает.
Пусть ударения каламбур
акцент смещает.

У паровоза. Здравствуй, Ленин!
У бюста. Чувство,
что ты кристален и вселенен,
король Убюста.

Нет, нет, неправда, до абсурда
ещё далёко,
и красит нежным цветом утро
любимой око.

25. РЯБИНКОВА И АНТОН

Сношений первых воплощённый
друг-Рябинкова
так прыгает на неучёный,
небестолкова,

и так, любезная, елозит,
что неумелый
вот-вот сработает и вбросит
ей плазму в тело.

Ей мало в пламенной свободе
седлать и шпарить,
ей что-то надо, что-то вроде
догнать-ударить.

В каких хоробах состоялось
твоё паденье?
Где неучёному стоялось?
Ночное бденье!

Полоска в талии загара
со следом скруток
резиночки, и круглых пара
в ладонях грудок,

и потолок в итоге плоский,
и смерть забавам,
и простыня, как флаг японский,
с пятном кровавым.

26. ВЕРАНДА БЫТИЯ (б)

твёрдость скалы
вёрткость змеи
рьяность огня
рваность зари
ствольность сосны
вольность меня

27. ПОД НОВЫЙ ГОД

В окне проезжие разбросы
волнообразных и бескрайних
снегов увидишь и раскосый
зеленогранник,

в чуть затуманенных, забитых
слюдою наледи, в которых
зеленогранник-ель и выдох
жилья в повторах,

в волнообразных и проезжих
полях мелькнёт — и ты увидишь —
огонь, как золотой орешек,
вдали и выйдешь.

И вот она, платформа, хрустом
и вмятиной дана подошвы,
и дальше — сказанные чувством
снега: роскошны.

За мелкою решёткой (надпись
читаешь: «Горьковская») в свите
стоят деревья, как я рад из
вагона выйти

и знать, витой и синеватой
идя тропинкою на дачу,
что позже стих витиеватый
на них потрачу,

что лучший из поэтов в помощь
мне даст жизнелюбивой силы
и что со мною будет в полночь
любовь Леилы.

28. ШАРМАНКА (5)

*рано утром все ушли,
вечером вернулись,
лампы в комнатах зажгли,
выжить извернулись!
Молится, летая, моль
над роялем,
грустная, как си-бемоль,
над лялялем,
в ноты глядя, точно в даль,
ворожит сестрица,
нажимая на педаль,
чтобы звуком длиться*

29. ПОСЛЕ ШКОЛЫ

После полдня, от часа до двух,
возвратимся из школы.
Только нот мне не надо, на слух
проспрягаю глаголы.
Исключения — «гнать» и «держать»,
содержаньем убоги.
Будет время — отвыкнем дрожать.
Преломив слово в слоге,
с полуслова друг друга поймём,
и святое безделье,
обеззвучив, устроит объём
как святое бестелье.
Так уж запах нам пота присущ,
страх провала неумный?
Легче, легче, приверженец куц
райских, ангел бесшумный!

30. ПЕНИЕ И РИСОВАНИЕ

Весны подай сюда, но с фикусом — весны!
Пусть Пасынкова и Панфёров
всей потностью дохнут возни, —
иду на шорох.

Что впереди у нас, что впереди у нас?
Учительница, научи нас.
Кто у дороги, раскричась?
О, это чибис!

Уроков пения и рисованья вдох,
с промытым небом над котельной, —
иконостас из синих трёх
первоапрельной.

Ещё верёвки, но с узлами, но фрамуг,
раззявивших косые пасти,
тяни, мой маленький, мой Мук,
и рви на части.

Вскрывая окна с треском, фикуса балласт —
вот фокус! — за борт, в кучи угля!
Панфёров, дай ей грубых ласк,
её раскукля.

Чуллок с резинкою мелькнёт и край трусов,
дверь, распахнувшись, включит тягу,
ветр путаницей парусов
взметнёт бумагу.

В весну — пока по позвонку бежит звонок —
первоапрельную кричи «бис!»,
лети мне в клювике цветок,
волнуясь, чибис!

31. ВРЕМЕНА ГОДА

Вот Мельникова Ира
сидит в луче косом,
струящемся как лира.
Свет солнца невесом.
С ней рядом Белякова,
алеет галстук-шёлк,
она всегда готова.
Свет вспыхнул и умолк.
Васильеву Наталью
отсадят от меня.
Октябрь дохнёт печалью,
осадки урона.
Любители кальянов
под дождик задымят.
Родненко, Емельянов.
Болгарский аромат.
Достать из пачки «Шипки»
одну и закурить,
увидев зимней зыбки
качнувшуюся нить.
Иль затянуться «Солнцем» —
и к форточке потёк
слоящимся уклонцем
синеющий дымок.

Потом, сугроб угробив,
приходят март, апрель,
и ты меняешь обувь,
носимую досель.
Потом гремят потоки
из водосточных труб,
и, прибывая, соки
квадрат возводят в куб.
Из девичьего мира
иди ко мне: любя
к тебе приближусь, Ира,
и обойму тебя.

32. ИМПРОВИЗАЦИЯ

Узнаю вокзал я Витебский,
помню, помню, на вокзал
за киоском тем, за вывеской
той малёванной шагал,

за квадратом красным, чёрным ли
мимобежного окна
жизнь ютилась, утки чёлнами
чуть покачивались на,

там жила моя любимая
в царскосельскости своей,
свежесть непоколебимая
мартом веяла ветвей,

ветви веяли дрожанием,
воздух в искренности был
собственным неподражением,
Леонидовичем сил,

но особенно вечерними
привкус гари был хорош,
сигарет и спичек серными
огоньками вспыхнув сплошь,

и летел по небу огненный
за составом след души,
с кисти жалостной уроненный
живописца из глуши,

ах ты, Витебский, немисливо
мне сегодня проезжать
всё, что вижу, и, завистливо
в полночь выглянув, дрожать,

и заглядывать за грань тоски,
с верхней полки прыгнув жить.
Так ли, так ли, милый Анненский?
Выйдем в тамбур покурить.

33. ФИЛОСОФИЯ II

Прими, грядущее, забывчивость
мою! Как ветви в голубом
плывут, забыв ветров забывчивость,
так, память, мы с тобой гребём:
спиною к финишной ленточке
на финишной из прямых,
по Малой Невке (той же Леточке),
при чувствах праздничных, при них.
Лицом к тому, что удаляется,
но прояснясь. То-то мрак
тобой и мной наутоляется,
когда, устав, затихнем, как, —
в колени лбы уткнув, угробившись
в дым на дистанции, в клочках
небесных вод, утробно сгорбившись, —
гребцы, — горошины в стручках.

34. ШАРМАНКА (6)

*рыщет ли попятный тать?
свистопляшут черти?
Ничего не должен знать
человек о смерти.
Не его это ума
дело, без участия
человека смерть сама
разберёт на части.*

*Поплывёт душа, от нас
отделясь, над нами
слухом уха, зреньем глаз,
насыщена днями.*

ПОСЛЕСЛОВИЕ № 1

Екатерина Александровна,
вот перочистка, я её,
кружками вырезав материю,
сшивал и дал ей бытиё.
Екатерина Александровна,
вот это прописи мои,
я букву А писал в них строчкою,
и буквы Б, В, Г, Д, И.
Екатерина Александровна,
тетрадь в линейчку сдаю,
в ней упражнения записаны,
там есть ошибки, не таю.
В ней промокашка розоватая
любима из последних сил, —
так нравится мне проступание
и расплывание чернил.
Екатерина Александровна,
я вижу совершенно Вас
и адресую с юной робостью
Вам «Школьный вальс».

ПОСЛЕСЛОВИЕ № 2

Олейников, что скажет критик?
Что скажет критик, Пастернак?
«Не из своих поэтик вытек!» —
вот что он скажет. Он дурак.
Люблю столбец Ваш, Заболоцкий!
Раскидывавший вдрызг мозги,
Гомер, люблю Ваш пафос плотский!
Нам с Вами не до мелюзги.
«Какой-то Йемен, — нюнит критик, —
путь, золотящийся песком...»
А я воскликну встречно: «Нытик!
Что в Йемене тебе моём?»

ПОСЛЕСЛОВИЕ № 3

Свершив мгновенно подвиг ратный,
позволь мне попроситься вдруг
с тобой, читатель всеобратный,
брат всечитающий и друг.

Исчезновение

*Памяти моего дорогого племянника
Серёжи Максимова*

* * *

*птица копится и цельно
вдруг летит собой полна
крыльями членораздельно
чертит в на небе она*

*облаков немые светни
поднимающийся зной
тело ясности соседней
пролетает надо мной*

*в нежном воздухе доверья
в голубом его цеху
в птицу слепленные перья
держат взгляд мой наверху*

* * *

Любезный брат и друг духовных выгод,
когда я вижу мост, я мыслью выгнут,
а сердцем серебряю, как под мостом
течение малейшим лепестком.

Великотрепетный мой друг светлейший
(немедля назовём ветлу ветлейшей,
а то ещё бесследно расхотим),
приветствую тебя, ты мне родим!

Возьми хоть что, хоть жизнь автомобиля,
смотри, как он пронесется, двужилия
и шинами шипя то «ш-ши», то «ш-шу»,
и я ему с обочины машу.

Собачиной, я слышу, брат вольготный
(поскольку для Господней воли годный),
меня подразниваешь, вот и зря:
собачина к обочине, сестря,

по сути льнёт. Я весь живу, и весь я
добычей стану птичьей поднебесья.
Как изумруд травы я изумлён:
все изомрут — едва лишь из пелён.

Задумайся, на рассмотренье падок
вопросов с разноцветьем праздных радуг,
духовных пагод друг и нежный брат,
над тем, чему так горестно я рад.

Чему ряд писем, брезжущих в словарном
внезапном срезе кварцем лучезарным,
я посвящу и, птичками сложив,
пущу в неукоснительный прорыв.

БЕЗУМЕЦ

Средь навзничь облетевших зодчеств,
в дождях косых,
я был свидетель крупных одиночеств,
причём своих,
и горько плакал, но потом, упрочась
в себе, затих.

В руках есть мячик, он резинов,
его подбрось —
и он летит, пока я, рот разинув,
стою, небось,
вздымая руки, и затем, раскинув,
их вижу врозь.

Ты спросишь, много ли в том проку?
Но света сноп
идёт сквозь это лыко в строку.
А мячик шлёп —
и катится себе неподалёку.
И день усоп.

Я приближенью ночи рад уж
совсем: строчит
швец травчатый, и хор древесных ратуш
во мне звучит,
и слышу проходящий шёпот: «Брат наш
опять мычит».

Они прогуливают перед
тем, как прилечь,
себя, а то замедлятся и впёрят
свой взгляд, как с плеч
его долой. — По-видимому, верят,
что я их речь.

«Ий-ий», летя, мне вторят птицы,
«ий-ий» вдали,
пока к заутрене я им гостинцы
крошу земли,
а там идут и гасят свет гасинцы.
«Ий-ий!» Ушли.

ЦАПЛЯ

*Сама в себя продета,
нить с иглой,
сухая мысль аскета,
щуплый слой,
которым воздух бережно проложен,
его страниц закладка
клювом вкось, —
она как шпиль порядка,
или ось,
или клинок, что выхвачен из ножен*

*и воткнут в пруд, где рыбы,
где вокруг
чешуй златятся нимбы,
где испуг
круглее и безмолвнее мишени,
и где одна с особым
взглядом вверх,
остроугольнолобым,
тише всех
стоит, едва колеблясь, тише тени.*

*Тогда, на старте медля,
та стрела,
впиваясь в воздух, в свет ли,
два крыла
расправив, — тяжело, определённо
и с лап роняя капли, —
над прудом
летит, — и в клюве цапли
рыбьим ртом
разинут мир, зияя изумлённо.*

МЕЛОДИЯ

*Слышишь, слуху повинуюсь,
тихий рост травы?
Волны к берегу, волнуясь,
припадут, волхвы.*

Припадут, в песок зароясь,
поднесут дары,
радость хрупкая, как робость,
утренней поры.
Звук идёт переливаясь:
Валтасар, Каспар,
Мельхиор, — перевиваясь,
превращаясь в пар.
В пар, в дыхание дитяти.
Бог, и Царь, и Смерть
в Нём раскинут, как распятье,
тройственную сеть...
Но покуда — сеть рыбачья,
пристальный покой,
пристань, редкая удача
лодочки вон той.

НА ЮГЕ

Стих вьётся — виноград, терраса,
над морем акробатка-радуга, —
пробежками аллитераций —
длиною в два-три слова — радуга.

На «эл», на «эф», на «и», на «цэ», на «ю»,
насквозь светящуюся гостью,
всю алфавитицу бесценную
увиджу розовой гроздью.

И косточки из гласной мякоти
зреть будут мир, и в дробном взоре
согласных — с вольностью грамматики —
вскипит и усмирится море.

КЛАССИЧЕСКОЕ

Когда умрёшь и станешь морем
с безликим разумом его,
ещё рифмующимся с горем,
но забывающим родство, —

тогда ты в раковины эти,
в их розовую белизну,
вшуршишь с песком тысячелетий
свой шёпот и предашься сну.

И будет этот сон огромен,
как затонувший мир, как свет
затопленных каменоломен,
которого повсюду нет.

Повсюду — нет. Но зренья редкость,
но, как испарина во сне,
накрапа краткая конкретность
проступит вдруг на валуне,

но птичий шаг, но тихий ужас,
но время хищное в зрачке,
но шатким треном краб, напряжась,
ещё топорщится в песке.

ДВА ПТИЧЬИХ ФОКУСА

1. ЗИМОЙ

*Незримые, но к зренью по пути,
под солнцем накренившись в небе зимнем,
рассеребрятся голуби, — почти
как из кармана фокусника в синем
пересверкнёт в подбросе конфетти.*

2. ЛЕТОМ

*Внезапный дрозд стиха на ветку прыгнул
и ветку выгнул.
И так зазеленело со двора,
что стало пять утра.
Потом второй туда слетел, пружиня,
и засвистел, разиня.
Мгновенье — и прижился он,
прижимистый до жизни, цепкий сон.
У третьего смеялся в клюве листик.
Кто, Велимир,
их траектории рассчитывал? Баллистик?*

*Сорвавшийся с когтистых растопыр
(мир так безосновательно был вынут
и вырезан внутрь яркости своей,
как ящик фокусника: выдвинут и вдвинут) —
ты кто, перепорхнувший средь ветвей?*

НОЧЬ

Дежурный чай. Сиди, немей. Длинна
ночь. Безусловный воздух свеж.
Кому ты говоришь: немедленно
меня утешь?

О смерти не пытай. А то ещё
сойдёт с невидимой оси, —
и не услышишь голос, тонущий
в ночи: спаси.

Я знаю, ангел мой: тоска. Давай
без тёмных таинств. Продержись
в своём уме и не разгадывай
свою не-жизнь,

где не вдохнёшь ни ночь, ни таянье
снегов, ни даже эту тишь
с чайнкой чистого отчаянья
не ощутишь.

Неоспоримых звёзд раздрызг, и на
ветвях сверканье, и не смей
пускаться в пряный бред изысканный.
Сиди, немей.

ПРОГУЛКА

В осеннем воздухе знобящем,
да в сером городе болящем,
да в переулочке глухом
аттракцион маячит шатко —
«Качающаяся лошадка».
Дитя верхом.

А дальше чуть, на тротуаре,
в пантомимическом угаре,
сидит дурак и мечет взор.
Сиди себе, жестикулируй,
веди с невидимою лирой
свой разговор.

Змею погибели на впалой
груди пригрев, с листвой линялой
в своих лохмотьях заодно,
шипит: другого-то не сыщешь
нигде, ты слышишь?
Мне всё равно.

Другого? Сам себе не ровня,
спокойнее и хладнокровней
смотрю извне,
как жизни маленькие смерти —
секундный шаг в осеннем свете —
идут во мне.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Вот-вот начнётся штурм.
Кленовых листьев взвод
вдоль тротуарных урн
и фонарей ползёт.

Вчера захвачен парк,
теперь вдоль мостовой
шарк гимнастёрки, шарк,
ползущий шарк живой.

На выкрик ветра все
взметнутся, и — внахлёт —
за взорванным шоссе
взлетит на воздух мост.

Миг битвы золотой, —
и, медлящий упасть,
за третьей высотой
взвод ляжет в жаркий пласт.

И если по ветвям
свет солнца пробежит, —
какой светоний там
среди цезарей стоит!

* * *

Олегу Вулфу

В пехотный холод снаряжайся,
непререкаемый мой брат.
Я говорю листве: снижайся! —
она снижается. Я рад.

Сзываю белок узкомордых,
они как буковки на вид,
а то ещё журавль в ботфортах
прощальным образом стоит.

Беспрекословный брат! Кочуя,
где славишь царственный удел?
Поверишь ли, вчера, не чуя
себя, летал над миром тел.

Когда в небесный край нас примут,
когда из розничных забав
телесно бедственных изымут, —
не будет ли Всесильный прав?

Сегодня тихо и свежайше
дохнуло холодом с холма.
Я снегу говорю: снежайся!
И он снежается. Зима.

НА ФОНЕ ГОРОДА

Человек вращает яблока полуогрызок
средним пальцем и большим,
указательный к ним тоже близок,
белозубый человек непостижим.

У автобуса прощаются ступенек
молодые, обострившимся лицом
плачет девушка, и глаз её, как пленник,
скорбно смотрит над его плечом.

И поёт нежданно женщина проездом,
серебрится поезд в темноте,
никому своим весельем бесполезным
зла не делает, и нет его нигде.

ИЗ КАТУЛЛА

Я как вспомню ревность, мальчик: она с другим,
и увижу, что они делают, мальчик, — страшней, чем смерть.
Но теперь сравнится с этим только «хер с ним».
Или «с ней». Но ещё равнодушной. Посмеиваешься? Не сметь!

Ни как он ведёт меж её ветвей сладостную ладонь,
ни как пальчики её прикасаются к явственному суку,
я не помню. Ни как их объёмлет, так твою мать, огонь.
Хоть убей, их стенанья, мальчик, — поверишь? — не на слуху.

Да горит тот проклятый год в необратимом огне,
о, во веки вечные, с ненавистью моей. — С такой,
что когда бы не сделал небывшим бывшее Всемогущий, мне
бы пришлось, бы-бы, бы-бы-бы, это сделать своей рукой.

И когда бы нынче мы пахотой с ней занимались, и соль
разъедала бы спины наши, плечи, мальчик, лобки и лбы,
и она меня спрашивала бы, пахотно ль, хорошо ль,
как тогда, сослагательно выль бы в плечо ей: бы-бы-бы.

Но теперь не то. Клетки мозга, в которых стояла вонь
и по зверю жило, и всяк в том зверинце сжирал своих,
опустели и отмерли, мальчик. Меж тех ли ветвей ладонь
я веду? Не помню, — сильнее, чем мёртвый не помнит живых.

ТОЛСТОЙ

Я с точностью объёмной лепки стойкой
мир запущу,
седи за небывалой стройкой
и стайкой птиц, летящих сквозь
каркас, за размышлением, плющу
подобно, вьющимся, — и восхитимся врозь.

Пожалте в человеческий зверинец!
Вот мягкий вплыл
хозяин, а жена, мизинец
оставив, попивает чай,
румяный рот красавца, пряный пыл
и вздор политика, — а рядом? — привечай

того, кто всех окажется сердечней,
кто отведёт
в смущении свой взгляд от встречной
неправды, от того ли, как
рассевшись в кресле, шутит идиот,
в лорнет рассматривая собственный башмак.

Расти, спокойный дом гостеприимства,
где вечера,
и пунш, и столики для виста,
и всплеск из детской голосов —
два брата, две сестры, ещё сестра, —
и эхом всплеска отзовется бой часов.

Пусть кто-нибудь весной воскликнет: «Лёгко!»
И следом мне
напишется так многооко:
«Он отворил окно», — и вдох,
отрадный вдох, и силуэт в окне,
и голос девичий, — всё станет ясно: Бог.

Тогда я двину войско против войска,
и роевой
закон движения (повозка

в грязи, солдат налёг плечом)
мир обезличит песней строевой
и общим — в нервном оживлении — лицом.

Следи, как я отстрою мир громадный
на пустыре,
оставив средь пролётов мятный
трав аромат, в июльский день
начав, когда, упорствуя в жаре,
дуб оживёт листвою, — и дрогнет светотень.

Вот здесь он и умрёт, на этом месте.
И если грех,
то — гордости ума и чести, —
взглянув с презреньем и пожав
плечами, ибо на глазах у всех
нельзя иначе. Так! И в смерти моложав.

Нежно-насмешливый с ним прекратится
двусложный взгляд,
но переливчатый родится
в двойном определенье звук
и сопряжёт цветенье и распад.
Нежно-насмешливый, прощай, геройский друг.

Смотри, как я свяжу намёки, жесты,
обмолвки, сны,
мужской театр войны и женский —
сочувствия, смешав их кровь, —
в единый узел, в прозу новизны,
в судеб скрещение, — и восхитимся вновь!

И вновь заложником безликой силы
предстанет мой
герой рассеянный и милый,
и торопливость палачей,
их рук, увидит, и расстрел самой,
сугубой, дышащей, мгновенье — и ничьей,

божественной, великолепной, явной,
не может быть,
чтобы моей, простой, бесславной,
живущей жизни. Что ж, мой свет,
бессмертная душа, учись любить
без той привязанности, без которой нет

любви. Но есть. Когда читаешь неба
ночную синь
как книгу бытия, то где бы
вчера ты ни прервался, ты
находишь то, что твёрже всех твердынь,
всё в той же ясности, в обвале немоты.

Когда-нибудь, уже постигнув книгу
насквозь, до дна,
осилив мощную квадрату,
в печальнейший, быть может, час,
ты не найдешь её, и чья вина,
скажи, что мир исчез и обошлись без нас?

Есть здравый смысл посредственности, он-то
непобедим, —
его хватистость животна,

есть продолжение рода, есть
растительная страсть, есть прах и дым.
Не в них ли и пресуществовался мир? Бог весть.

ПОКУПКА

Я вышел выйти,
потом в рассеянности сбоку
ненужную купил вещицу,
забыл какую,

осеннее ласкалось солнце
котёнком неба,
«мяу...» — окликнуло, но дальше
опять не помню,

вещицей оказаться море
могло, — так в блеске
глухонемое
и в тишине лежит — ни всплеска,

и сам себе
воздушной почтой
я переслал его, чтоб стало синеве
без мысли проще.

НАЧАЛО ЗИМЫ

Фигурка глиняная в кресле,
в изменчивых объятых белых.
Электропередачи крестный
ход мимо дома престарелых.

Вот в кресле привстаёт калека
и Господа о чём-то просит,
и вертикальный ветер эль греко
вдруг вытянутого уносит.

Лети, приятель-сновиденье!
Во славу небосвод расколот
тебя и резкого паденья
температуры. Ясный холод.

* * *

Случается, днём переулочным
катают больное дитя.
Столкнёшься со взглядом придурочным,
и слёзы задушат тебя, —

так бродится зябко в тиши ему,
как если б он был обращён
всей нежностью к Непостижимому,
отвергнут и тут же прощён.

* * *

*Боже праведный, голубь смертельный,
ты болеешь собой у метро,
сизый, всё ещё цельный.
Смерть, как это старо!*

*Ты глядишь на обшарпанный кузов
мимоезжего грузовика
и на гору арбузов.
Пить, впиваться бы в мякоть века.*

*Воздух. Жар. Жернова.
В этом белом каленье
изнутри тебе смерть столь нова,
сколь немислимо в ней обновенье.*

*Или чувство твоё
новизны так огромно,
чтоб принять Её в силу Её,
Боже горестный, голубь бездомный?*

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЬЕСА

*Сначала дверь со скрипом, пауза,
со скрипом отворяет он,
и видит воздух цвета паруса,
и медлит звуковой наклон,*

ещё чуть-чуть — и разыграется,
сарай дощатый в световых —
сквозь щели — струнах разгорается,
и следом вспыхивает стих.

Он струнные пласты складировует,
и вдруг в раскрытое глядит,
где вся во фраке, вся солирует,
вся эта ласточка летит,
вся эта ласточка, в извилистом
изливном звуке исхитрясь,
вверх падает всем тельцем жилистым,
на солнце искренне искрясь,

и, удалившись в точку таянья,
уже невидима почти,
почти что противостояние
кусту весомых чувств пяти,
на милостивое снижение
идёт и нотой в синевах,
ей данных в чистое служение,
звучит, занежась на крылах.

Тогда от индивидуального
её паренья оторвав
свой взгляд, забывший в пользу дальнего
оркестр подручных переправ

на берег точного, древесного
распила, — он ведёт, как строй,
смычковый гул соседства тесного
на тёс дымящийся, сухой.

Оркестр в подмышечных подпалинах,
и первый слышится раскат
ударных, — с улиц ли, расплавленных
жарой, доносится обряд,
и похорон в провинциальности
какого-нибудь городка
свидетель, жертва их тональности,
дитя глядит на облака, —

гремит ли по соседству кузница
и раздуваются ль меха, —
он знает: свод громами грузится
в согласье с музыкой стиха.
Крестись, дурак, крещендо мощное,
сирени в крестиках озноб.
Он наклоняет лоб наморщенный.
Рабочий день, тесовый гроб.

Сосновый лес за лесопилкою.
Он радуется не спеша, —
там разогретая и пылкая
остужена его душа.

О чём ты, пьеса бесполезная?
Сон за стежком ведёт стежок,
покуда ласточка, как лезвие,
не разошьёт ночной мешок.

СОН ПАМЯТИ ДРУГА

Как дерево корнями,
вглубь прорастает сон,
и зыблется огнями,
перевиваясь, он.

Перебиваясь с хлеба
на воду тех краёв,
где очевидней небо
и безусловней кров,

он миг спустя петляет —
и, невесом и тих,
бродяжит и плутает
в краях, где нет живых.

Ни рая нет, ни ада,
ни логики земной,
но ўмершему надо
там встретиться со мной.

Там, как в часах песочных,
как перешёпот двух
времен, сторон височных,
есть абсолютный слух

у жизни и у смерти,
на перешейке сна.
Прильнув к тебе, на третью
ночь, донырнув до дна,

я спал, и было сладко
мне этой ночью спать,
так в книге спит закладка,
уставшая читать,

в созвездье слишком близких
букв, чтобы видеть. Но
душа, казалось, в бликах
ночных, с твоей — одно,

душа, казалось, сдастся,
и ей в земной предел
вернуться не удастся.
Да я и не хотел.

ПАМЯТИ ЛЬВА ДАНОВСКОГО

Как до тебя, оставшегося впереди,
намеренным, или случайным,
или чрезмерным словом, но дойти,
избыточным и чрезвычайным?

Рехнувшееся ремесло.
Как если бы слепой стекольщик
алмазом воздух резал как стекло,
полотен световых раскройщик,

и мнимые квадраты полотна
оконного, ощупывая небо,
отбрасывал и близил отсверк дна,
и вдруг — добыл его и озарился слепо.

ПАМЯТИ ВОЛОДИ ДВОРКИНА

На Северной Двине, за Нижней Тоймой,
белеет вечер, навсегда спокойный,

и так воде и небесам легко,
что видишь дальше смерти, — далеко.

Вдоль Северной Двины, за Нижней Тоймой,
идём с тобой мы,

вдыхая воздух, на его блесну
попавшись. Слово странное: взгрустну.

На Северной Двине, где есть районный
центр, поднимай стакан гранёный.

Продмаг с крупой и плавленым сырком.
Что в горле? Ком.

На Северной Двине, за Нижней Тоймой
позвякивает вечер рукомойный.

Куда ты смотришь? Что там вдалеке?
Малец несёт подушечки в кульке.

И стелют небеса, и верхней тайной
летит, летит печальный отблеск стайный.

* * *

Женщина смотрит на беглые очертанья
облака, на летящее его таянье,
щурится, говорит: он там.
— Где? — Вон там.

Это утро на финском
взморье, сосновом, близком.

Мальчик, завёрнутый в махровое полотенце,
и полусолнце из полудетства.
Он балансирует на одной ноге
невдалеке.

Это первые затеванья
возраста: переодеванье.

Девочка на прибрежной
полосе тут как тут, —
от одного песчаного замка нежный
танец к другому, бабочки необязательный труд.

Это тельца её свеченье,
это первый укол влеченья.

День измеряется тиканьем
на мелководье мальков,
с их прозрачным и тихоньким
тиком и позвоночной извёртливостью рывков.

Это первые выпаденья
в Его владенья.

День измеряется перебираньем
ягод вечером ранним,
отрыванием звёздчатой зелени
от клубники и обнажением её белокруглой лени.

Это первые утоленья
взгляда на облако в отдаленье.

* * *

Моей сестре Инне

Мы остались на поверхности земли
колыбельной песней для того,
кто ушёл, кто дальше, чем вдали,
кто утратил жизни вещество.

Как дитя укладывает спать,
наклонясь над колыбелью, мать,
так и мы с тобою жить должны,
над землёй склоняясь, навсегда нежны.

Видишь, спящего и сон не разделить, —
слухом стань и поступишь собой,
чтобы сетованьем не будить
тайного безволия покой.

Мать отводит истощённый взгляд
на окно, на законный сад, —
ни живой ни мёртвый, он притих,
словно там отсутствие сошлось двоих.

* * *

*Возьмите летящего вдоль воробья,
его совершенный комок, —
он сделан как будто за миг до вранья,
ему человек невдомёк.*

*Возьмите сидящего вдаль воробья
на ветке, протянутой вбок, —
он сделан из тоненького тряпья,
которое дал ему Бог.
А если воробей умрёт, его из глины
Исус обратным обжигом творит
и выпускает в воздух, в вечер длинный, —
и он летит.*

АСТРОЛЯБИЯ ЖИЗНИ

На свете счастья...

А. С. Пушкин

В серенький день
оказаться в Царском Селе,
в серенький, ты не спорь, моя тень, —
я в полухолоде, ты в полутепле,

выпив, конечно, иначе-то
как бы увидел себя
счастьем, которое только что начато,
чёрная в блёстках скамья.

В серенький день
пробрести меж дворцовых камней.
Это работа на местности, тень,
и астрология жизни моей.

Астр тяжёлый букет
от привокзальной нести
площади, каплющей на просвет
и освещённой капельницами к шести.

В колбе, которую царственный Сам
держит, дышать и на ней
видеть по выгнутым небесам
будущий промельк огней,

высветивших чуть заметного
в центре как остановленный кадр.
Разве на свете нет его?
Нет, Александр?

СТИХИ ДЛЯ ЕЛЕНА

1

стремянка за кухонной дверью
верёвки сушёных грибов
недолго спать ёлочному зверью
приближение слышится скрипов

есть тяжёлая на антресолях
коробка до поперечно-продольных
ран перевязанная да пыль в углах
где рулоны обоев зелёных

есть игрушек насесты-гнезда
в той коробке избушка кругла
а на крышу как синий воздух
снега белая шапка припухло легла

и в окне её несгораемый золотой
свет орешек грызёт на верхней
ветке белка бочоночное лото
ты найдёшь подарок заветный

но потом потом а пока буди
рыб и птиц картонного серебра
в серпантиновой пёстрой сети
и бегущего лыжника шара

шар в котором вырезан внутрь
конус переливающийся достань
с усыхающей ёлки в одно из утр
упадёт тонкостенной игрушки склянью

перед этим лёгкая осыпь игл
чуть коснётся слуха потом потом
я тебе подарю то что мне дарил
в мандариновом свете дом

а пока стремянку расставь раскрой
антресолей дверцы и бельевую
на коробке развязывай мой
драгоценный верёвку простую

Прийти туда платановой тенистой улочкой,
песок слепяще бел, а если ступишь,
то обжигаящ, ракушек кулёчки
крошащиеся собирать на бусы,

в ларьке их, крашенные, продают приморском,
хочу мороженого, море оловянно
синеет, белая медуза мозгом
плывёт или на берегу мерцает вяло,

кружок картёжников: мурлычет первый,
второй, как веер, распускает карты,
у третьего на среднем пальце перстень
массивный, со «Спидолой» пятый,

и кромкой моря с осликом фотограф
идёт, как если бы ходила радость,
ребёнок с топчана бежит и, ослика потрогав,
смеётся, ласковая безвозвратность,

потом он обернётся на родителя,
во взгляде храбрости огонь победный,
но и смущение, в безделье длительный
день тянется, как водоросли в бредне, —

потом вернуться в пахнущую солнцем
и краской пола комнату, и перед этим
увидеть новых дачников, морскою солью
у девочки плечо чуть серебристо светится.

ОДА ОДУВАНЧИКУ

На задворках, проложенных сланцевым светом, — вот он, на глянцевом стебле. Воткнут.

Воткнут. Сорван, — змеиное молоко — тонкий обод, — бел и лёгок как облако, распыления опыт, — вот он, дóбыт.

Точно лампу, несущего медленно, мне так долго не велено, — вечереет, — вечереет вчерне, — мне не велено. В небе реет то, что прахом развеяно на земле, быстрый лепет. Но не греет.

Долго так не гуляй, мальчик с лампою. Эту оду я вам пою. Эта ода Одуванчику, слепку и копии небосвода, и себе в том раскопе, и — мне там трижды три года — жизни ода.

Шевельнись — и слетит с Одуванчика
пух, с цветка-неудачника.
Помню шёпот
мамы: «...роды...» — (о тётушке) — «...умерла».
Села штопать.
Или, скажем, пол подмела.
Распыления опыт.
Вот он, добыт.

Точно лампу, моргнувшую на весу,
на пустырь его вынесу,
и вот-вот свет
Одуванчика сгинет безропотно.
Там, где нас нет.
Дуй! — он дёрнется крохотно, —
в мире что-нибудь лязгнет, —
и погаснет.

* * *

завёрнутая в одеяло
кастрюля варёной
задохшимся жаром пылает
за дверью слегка притворённой

ждёт после работы
ещё носоглотки леченье над паром
ещё с боковой застёжкой боты
сырым тротуаром

ноябрьским и день рожденья
и левитановы обращения
картофельный бело-рассыпчатый сон
жизнь я потрясён

вниманье твое скрупулёзно
столь близкую даришь
мне встречу с кем розно
и в памяти шаришь

и там обещанье
находишь такое
как медленное обнищанье
календаря отрывное

как если бы помнил оттуда
сегодняшний день
задохшимся жаром пылает причуда
и замертво падает тень

* * *

Как у зеркала, напомаживая губы,
делала их немного внутрь,
и тогда розовели зубы.
На работу выход в раннюю утварь утр.

Там застёгивается вдали Нева,
как течение времени, на прозрачный лёд.
И остроги и острова
коченеют, и ярко дымит завод.

И глаза слезятся по Цельсию.
Те сцепленья льдин,
остановленная процессия, —
это время, ставшее в будущий миг один

образом. Теста под полотенцем замес
вафельным в одну из суббот.
Вечерами играла вдруг полонез
Огинского, смеясь и сбиваясь с нот.

Вот что осталось от жизни:
запах холода в чёрно-бурой лисе,
тёмно-сине-зелёные выси
неба зимнего, преломляющиеся в слезе.

* * *

Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну...

Е. А. Баратынский

Когда я поворачиваюсь на бок
и вижу в полусне тахту и пару тапок
под ней, и на тахте отца,
как он лежит, вдруг всхрапывая, в той же позе,

что я, когда в подушку пол-лица
вмяв, руки на груди скрестив, когда, как в прозе,
я в сумрачную комнату вхожу,
в деепричастном полуобороте
его запоминая, и вожу
пером по белому листу, темнеющему вроде
окна, где снег и небо пополам,
и день кончается и гаснет по углам,
когда, почувствовав мой взгляд
или услышав половицы
скрип, он проснётся, невпопад
почти что крикнув со страницы:
«Что?» — «Ничего, — отвечу, — спи, мне это снится».

НАЧАЛО

Давай готовиться. Уложим готовальню:
рейсфедер, циркуль, транспортир.
Путь дальний.
Вот измеритель. Вот пустырь.

Пространство белое зимы, шершавый ватман,
пенал, набор иголок, тушь.
Слух ватный
после болезни, в горле сушь.

У кочегарки свален уголь. Вот угольник.
С крест-накрест шарфом на спине
невольник
рассмотрит карту на стене.

Все концентрические трещины в паучьем
порядке перед ним рябят.
Заучим
райцентров имена, мой брат.

Давай готовиться. Горит с подщёлкой тара.
Ты из какого, кингисепп,
кошмара?
Иль это сланцы? Я ослеп.

Мне тосно в киришах, рычит на тихвин волхов
и колтуши лежат ничком.
Ни вдоха.
Ни даже признака ни в ком.

Нет никакого выборга в металлострое.
Откуда взялся этот бред?
Сырое
пространство, проездной билет.

В калошах хлюпает. Зима слаба в коленках.
Вот кинохроники с утра
на лентах
мерцанье страха. Мне пора.

Фонарно-точечный. Неоново-фонарный.
От горя к горю перебег
угарный.
Гарь времени легла на снег.

Посадки-допуски, тиски, напильник, фаски,
жёлто-ремонтных мастерских
две фрески, —
полуподвальных окон дых.

Когда с посадочным, уже затеяв бегство
от производственных резцов,
от бедствий
труда и лозунгов отцов,

заходишь в слякотный вокзал гудящих пазух —
вокал бетона и стекла
в запасах
тоски велик, сиянье, мгла —

и в тамбур лузганий, перешагнув расщелье,
с платформы входишь, — нет тебе
прощенья
в повиновении судьбе.

* * *

Вот ранняя весна. Ясна равнина
небес, и холодна начальным светом,
и с книгою распахнутой сравнима.
А помнишь ли, как поздним летом

дни умирают? (Вижу, как клубнику
мать ставит, сахаром чуть присыпая.)
Так умирают праведники, в книгу
упав лицом и засыпая.

P. S.

Зачем я оказался здесь — не знаю,
и почему бесценной стала ты,
жизнь, без которой холодно зияю?
Кто говорил: вернись до темноты?

Зачем, когда вечерним часом ранним
я шёл на голос твой, по простоте
души, с подслеповатым послушаньем, —
зачем я не нашёл тебя нигде?

* * *

*В голове у голубя
нет воображаемых картин,
в сизой треугольной проруби
с лапками «три дробь один».*

*Только льдинка глаза вертится:
то что есть точь-в-точь я то что есть, —
азбукой морозной светится
не от мира весть.*

* * *

Я более люблю
всего, когда враспloch
из ничего ловлю
сознания сполох.

Оттуда, где привык
не быть, из ничего —
краеугольный сдвиг
в земное существо, —

я более люблю
вещественную весть
его, чем жизнь саму.
Он лучшее, что есть.

А ночи не страшись
и утра не проси,
рукою дотянись
и лампу погаси.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Был праздник, шли крикливые латинос,
визжала санитарная сирена,
и площади в огнях цвела арена
(в один из дней, в один из дней, в один из).

И вдруг всё истончилось, мимоходом,
и, нежная, из праздничного гула,
день обезличивая, ночь прильнула
(да что там ночь, да что там),

и из окна романс донёсся: «Если,
как звёзды, мы с тобою отпылали,
была ли жизнь, была ли, ла-ли, ла-ли?
И есть ли, есть ли?»

Пока там некто пел, точнее — пепел,
я бросился к витринной чёрной плешу,
где должен был бы встречным быть себе же,
но не был.

Согласие

СОБЫТИЕ ЖИЗНИ

Жарким полднем в Феодосии,
по пути на море или с моря —
в ослепительном оно разбросе
и в замедленном теперь повторе, —
в магазине «Канцелярские товары» —
глобусы, карандаши, тетради, —
иоселиани волн пасёт отары,
обесмыслив на секунду, ради
вспышки световой, повествованье, —
тишина, какая-нибудь муха,
всё оцепененье мира на свиданье
с детством зрения и слуха, —
тёмные очки, открытки, ласты,
перочинные ножи, игральные
карты, зонтики, зубные пасты, —
блики моресновиденья дальние,
из боспорского родясь и царского
полдня, чуть прикроешь веки, —
там вонзился запах канцелярского
ужаса вещей в меня навеки.

ВЕЧЕР

Чтение книги в квартире пустой
вдруг прервали шаги.
Кто мелькнул в коридоре, постой.
Никого в коридоре. Ни зги.

Кто прошёл к
то ли зеркалу, то ли к тому,
чтобы рифма, как шёлк,
приласкалась мелькнувшему.
Дышит смертная тень.
Столько скорбных родных,
под свою призывающих сень.
Ты утешная ль книга для них?
Бытие, точно с двух
перелистываясь сторон,
льнёт к срединной странице, как слух.
Миг — и явь встретит сон.

МГНОВЕННЫЙ СНИМОК

День, как волнистый попугай,
пёстр, зелен, золотист,
день вертится на жёрдочке. Слагай
пуховому гимнасту гимн, артист!
Мы сели на ступеньки всемером,
чтоб нас на память щёлкнул
прохожий, и бесшумный гром
внезапно охнул.
Из дома вынесли не труп,
но полутруп; завёрнут в саван,
он пошевеливаньем губ
был праздничной потехе явлен.

Прохожий щёлкнул, и в глазах
у каждого из нас зависли
носилки-жёрдочки. Пух-прах.
Задвинули и увезли из жизни.

НАУТРО

Под роялем стоят чемоданы,
без рубашки мгновение зябко,
спать укладывания данный
вечер вижу внезапно.

Чёрно-лаковый стул у рояля
с кругло-замершим блеском вращения,
от окна чуть холодной далью
зимней тянет из щели.

Нет ни голоса в мире, ни жеста,
прожит день целиком, без остатка,
и согревшееся блаженство
засыпания сладко.

А наутро — всё в бледном окрасе,
ломко звякнули чашка и блюдец...
И уснуть ещё раз, пока все
не уйдут, — и проснуться.

ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ

Я остро чувствую отсутствие
людей, которые ушли.
Сойти с ума и жить безумствуя,
ноль умножая на нули?

Нельзя. «Уж лучше посох...» В опыте
утрат, как белка в колесе,
вертись всей памятью. Но, господи,
куда они девались все?

Я в гроб смотрел со всею утлюю
своей способностью смотреть,
и труп мне показался куклою,
и мерзкою игрушкой смерть.

Потом из пустоты бесчисленной
свет, чёрно-белый на просвет,
возник как смысл, но бессмысленный,
как если б «да» сказала «нет».

И это всё. Молчи. А то ещё
беду притянешь, как магнит.
Но если что-то мнит чудовище
живых людей, то пусть не мнит.

УЧТИВОСТЬ

Такси с коврами, впихнутыми в пасть
багажника, — иранцы! — мчится мимо,
чтобы, вписавшись в поворот, пропасть.
Совсем пропасть? Совсем. Невозвратно.

Японец на почтамт несёт письмо.
Над ним, в тяжёлой грации движений,
два облака, как два борца сумо,
плывут на юг, толстая от сравнений.

Щепотка мексиканских женщин ждёт
автобуса, который на подлёте
и скоро подчистую их склюёт.
Совсем склюёт? Совсем. Прощайте, тётки.

Прощайте, люди. Временная жизнь
почти прошла, — сужаясь как воронка,
она меня сверлила: ужаснись!
Но я безмолвствовал и улыбался тонко.

ПРИРОДА И МЫ

В светловальне дня прояснены
все детали. Тих прозрачный скит.
Дерево подробной желтизны
в полноправном трепете стоит.

Или вдруг бестрепетно замрёт,
и не то что вскользь по сторонам —
ни назад не смотрит, ни вперёд.
Горе, моя радость, горе нам.

ЧЕЛОВЕК

Что ты сделал с жизнью своей,
что тебе не простится?
Не сумел как светлей.
Почему она длится?

Что ты сделал с нею, старик?
Дочь тебя презирает.
И жена, точно крик,
замерла. Так бывает? —

чтобы ночь в темноте лежать
чуть дыша, но бояться
насовсем перестать
и с собою расстаться?

Что ты сделал? Шарканье шин
да проезжие всплески
музыки из машин.
Отсвет на занавеске.

СЕБЯ Б

Не видя ни смысла, ни прока,
я по теневой стороне
брёл в мыслях: зачем нас глубоко
зароют? Зачем это мне?

Никто ничего не ответил.
И если бы я не упал,
споткнувшись, — себя б не заметил
и тут же себе б не сказал:

бесмыслица — жизни прореха
и смерти тупое клеймо,
когда б не дрожало от смеха
«бесмыслица», слово само.

СКАЗКА

Жизнь от неба в двух шагах,
над рекою зяблый свет,
рот разинет рыба-страх,
рыба-сон зевнёт в ответ.

В гору, в гору спину горбь,
блещет на вершине снег,
сухо крикнет птица-скорбь,
отзовётся птица-смех.

Жизнь в ушко небес продень,
белый свет шитья расправь,
ветка-явь отбросит тень,
ветка-тень отбросит явь.

БИНОКЛЬ

Меня бинокль привлёк,
и я купил бинокль.
Далёкий мотылёк,
ты так же одинок ль?

Ты так же близорук ль,
когда, надев очки
(твой взгляд — горящий уголь!),
глядишь в мои зрачки?

Простая сила линз —
и мы с тобой уже
не плоть, и желчь, и слизь,
но тихий гимн душе.

МЫШЬ

То не зверь кричит, не птаха,
проклиная бытиё,
то орёт приманка-плаха
мышью, влипшейся в неё.

— Вороти, судьба, оглобли! —
так кричит, кто мал и сир.
Друг, ты слышишь эти вопли,
сотрясающие мир?

— Слышу, вижу, чьё-то лихо
смотрит с плахи на зарю.
С омерзением, но тихо
дверь в кладовку притворю.

ПРИЧАСТИЕ

Небеснейшее помню дуновенье
в трамвае на Литейном, ясным днём, —
я совершенно умер в то мгновенье,
но вспыхнул свет — и я очнулся в нём.

С тех пор в тоске я замираю часто
и думаю, что этот чудный сбой
есть первый миг продлённого причастья,
когда душа прощается с тобой.

ФОТОГРАФИЯ

Я вынул фотографию, портрет
того, которого на свете нет.

Потом убрал. Тень лампы колыхнулась,
и мне почудилось, что в ящике стола
отображенье задохнулось.
Как странно скорбь меня подстерегла!

ХОДАСЕВИЧ В СТОЛОВОЙ

Людей узор необязательный:
старик, две дамочки, семья...
Второстепенный, описательный
свой дар на них потрачу я.

Они снуют вблизи с подносами,
несут еду, потом едят.
Дыша кухонными отбросами,
вдали работники галдят.

Как серенько, как посетительно,
рука запуталась в плаще,
беспомощно, неубедительно,
бездоказательно, вотще!

Зажмурясь, откажу творению,
распорядившись видом дня
по собственному усмотрению...
О, пиршествуйте без меня.

ИСПУГ

Уже развязку в этой драме
торопит похотливый стыд,
уже разряд между шарами
голов сверкает и шипит,

уже горячей лавой в лоно
летит шальная булава
и оползнями на два склона
омертвевают оба два...

Но полно! Что это такое?
Какой корёжит их недуг?
Какое зверство половое
сношение! Какой испуг!

СТАРИК

Старик встаёт кряхтя.
Накинувши халат,
сластёна и дитя,
он ищет мармелад.

На ощупь, в темноте,
он ищет и дрожит,
но он не помнит, где
он, собственно, лежит.

И явь настолько сон
и чёрное трюмо,
что *кто* здесь этот «он»
ему неведомо.

СЛОВО

Наивным словом приголубленным,
с доверчивым однообразием,
последуем за миролюбием
вещей, за чистым их согласиём,

за их судьбою незапятнанной,
за музыкой касаний умною, —
они тоской по жизни спрятанной
за это заплатили, думаю,

как слово тихое, не вещее,
с послушной верою упрямою
плывущее на свет немеркнущий,
очерченный оконной рамою.

СЧАСТЬЕ

Я вынимаю монпансье.
Ты помнишь их на вкус: лимон,
малина, вишня, — эти все
гремушки? Да? Не удивлён!

А круглый домик жестяной?
Взял в руки, повернул, чуть сжав,
открыл... Ты всё ещё со мной?
О, рассыпь с пряностью приправ!

Весна. Флажками шапито
трепещет в парусной красе.
Демисезонное пальто.
В кармане банка монпансье.

СТРИЖКА

Там, за окном, как бы за сценою,
с небес слетает снег живой,
а здесь — охота за бесценною,
неповторимой головой.

В зеркальном озере, как лилия,
она плывёт, а дальше чуть
горит береговая линия —
асфальтовый кремнистый путь.

Плывёт, вдыхая, щурясь, нюхая,
покуда бритвенный прибор
жужжащею прицельной мухою
снимает стружку, вёртко-скор.

Забавен мир своими тельцами,
их прихотями что ни миг.
Паренье ножниц над пришельцами
и распыленья быстрый пшик.

ЗАВТРАК

Бывает день, не день — свечение,
воспеть ли мне душой отрадную
яйца в кастрюльке кипячение
зимой январской аккуратную,

воспеть ли малость незначайную:
треск наледи от шага пешего,
постукиванье ложкой чайною
по скорлупе яйца белейшего?

Стучи, стучи ему по темени,
ты вычтен из себя, и в разности
нет ни людей, ни даже времени...
Кого ты окликаешь в праздности?

НА ПОРОГЕ

Войдёшь — и темнота обступит.
Потом проявится окно
и свет вечерний приголубит.
Как бы колодезное дно.

Чем безымянней, тем дороже.
Где? не припомню... как сейчас,
я долгими стоял в прихожей
минутами не шевелясь,

в недавнем жизнеплощенье,
где опустевший дом притих...
Но нынешнее возвращенье
на проблеск явственной других,

на миллиграммовую гирьку,
призвякнувшую на весах,
к исчезновению впритирку
в странноприимных небесах.

ГОСТ

Стоит выпить ради мысли быстрой всякой,
ради происка её неуследимого, —
наливай, мой колокольчик, звякай, звякай!
За летящего, а в сущности — летимого!

Видишь — морось водянистым виноградом
над безлюдной и бесчеловечной площадью... —
Ты взгляни своим отсутствующим взглядом,
как согласно растворюсь в небесной росчуди.

Там, за облаком, где мне заказан столик,
я забуду, что не справился с заданием
жизни, — звякай, непутёвый колокольчик,
и приветствуй многодонным «до свиданием»!

ПО ТЕЛЕФОНУ

Ну в каком состоянии... Нахожусь не у дел...
Операция не привела улучшения...
Ничего не почувствовал из того, что хотел...
Кровь не хлынула по артериям для обращения...

Кровь должна обращаться, но не идёт
должным образом... Я уже понимаю злиться...
Что ты спрашиваешь вопросы «куда кладёт»?..
Человеку у нас положена по статье больница...

Логопед кладёт... Каждое слово теперь на вес...
Я на кухне, Лиза в комнате врозь обитает...
Теснота количеству спальных мест вразрез...
А меня обретает тоска... Тоска обретает...

РЯДОМ

Слово, родившись, не помнит своей немоты.
Впрочем, бывает, идёшь и внезапно — не ты.

Некто, врасплох потерявший себя... Голубой
странно любить небосвод посторонним собой.

Странно, как если б то самое слово, влегке,
вышло пройтись с тишиной своей на поводке.

ЗА ГРАНЬЮ

За тем окном, в ленивой несвободе,
кот, — перед ним, кружась, кипит листва,
в нём мысль, её предел, при переводе
на человеческий: хочу туда.

Он лапой по стеклу слегка поводит —
жест инстинктивный — не проникнуть за
грань тонкую, глаза кошачьи ходят
туда-сюда, — часы, а не глаза.

Мир комнаты таится за стеклянной
перегородкой... — кто там? С первых строк
стихотворенья тянет валерьяной
и светится зелёный пузырёк.

СОН

вдруг рыба торкнулась в окно
висит и тычется
и как-то на сердце темно
почти что плачется

зачем пришла за чем за кем
глядит просительно
и мой испуг в ответ ей нем
так непростительно
то вверх то вбок юлит она
то вниз то вбок опять
всё по периметру окна
пришла молчком пытаться
молчит на то и рыбе рот
чтоб кругло узиться
и немотой дышать вперёд
ночь совесть узница

ВЗГЛЯД

«Тойота» не спеша с заправки тронет.
Прохожий выбросит (как бы уронит)
бумажку. Мимо. Реплика «Крестов»,
за изгородью реденьких кустов
дом в солнце тонет.

Краснокирпичный. Четырёхэтажный.
Невидящими окнами чуть страшный.
Зайдёшь в квартиру, глянешь изнутри... —
смотри туда, где нет тебя, смотри
на свет протяжный.

На дрящийся. На неопровержимый,
поскольку и дрожащий и дрожимый.
Грамматика: действительный залог
одушевлён страдательным. Се Бог.
Твори, Творимый.

НОЧЬ НА 3 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА

Льву Дановскому

С ожесточеньем, не каменный,
жил я в квартале от красной тюрьмы.
Дай-ка возьму этот ритм неприкаянный
на ночь взаймы.

«Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами?»
Как эту ночь переплыть?
Помню буксиры с их криками сиплыми.
Мост разводной не забыть.

Это Литейный, Литейный.
Выйдешь к реке — небосвод воспалён
где-то над Биржей, где длится ладейный
эндшпиль Ростральных колонн.

Можно сказать, что на стогах
тишь и чернѣхонько в окнах.

Стихли застольные пьяные гомоны.
Город-укор в распрямлённой красе.
То ли уснули неправедным сном они,
то ли попрятались все.

Я, подневольным крещён понедельником,
помню предутренний свет.
Нас было трое, ты был нашим Дельвигом.
Первый, которого нет.

Этот мотив я затеял, не ведая,
что обращаюсь к тебе.
Осыпь апрельская, — время грохочет отпетое
льдом в водосточной трубе.

СУТЬ ДЕЛА

Точка засыпания прекрасна
как ничто на свете, так легка.
Только что не спал — и вдруг погасла
вся эта латерна магика.

Ровное прервав повествованье
и перечисление вещей,
нам представить наше расставанье
следует исчерпывающе.

Чтобы его встретить не проклятем,
даже и не сожаленьем, но
благодарностью, простым приятем.
Остальное не существенно.

ЮНОСТЬ

Вижу, вижу за оградой листву я,
там копейка луны обронена,
под луной и свидетельствую,
как святительствует город огненно, —

безответной любви одиночество
восхитительно, а не бедственно,
и не столько паломничество,
сколько рай непосредственно.

Осень брезжущая, неброская,
поздним вечером река тревожная
да стезя Каменноостровская,
в свет дождя рукоположенная.

РОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Славе Вольфсону

Шланг легонько так извивается,
из него вода изливается,
помидором гретым воздух тяжёл,
к шлангу я подошёл.

Жарко жар идёт-поднимается,
полуспит дитя, скукой мается,
георгин на грядке ярко-мясист,
как матисс-аметист.

Подбираю шланг с замиранием,
двор дрожит стрекозиным реяньем,
поливаю двор, в солнечном свете,
в радужном забытье.

Распылённая вода катится
по траве и десятикратится
разбегаясь, ставнями дом закрыт,
дом прохладу хранит.

Лето длится, лето бессрочное,
золотой цикадой прострочено,
циферблат-подсолнух в огне стоит,
тяжесть-время таит.

В доме бархат побелки на ошупь,
а за круглым стеклом стрелок росчерк.
Отражением дня зажглось стекло, —
дрогнув, время пошло.

РАДИОСПЕКТАКЛЬ «ИВАНОВ»

Алле

Одна из коммуналок родины.
Темно. Соседи Приколотины.
Все вещи неуютной комнаты
тоскливым вечером приобняты.

Тебе лет десять. Завтра школа.
Тарелка радио у пола.

Околеванца нет... Околеванца?
Ты что-то загорделась... Загорделась?
Предгрозового фьють немного солнца, —
в буфете рюмка загорелась.

Ты сослан к тётке. Где родители?
Они в раздоре? Их похитили?

С тобою, Коля, жить такие муки...
Ань, глядя на тебя, мрут мухи...
Соседка, а соседка, дайте рубль.
Соседкина фамилия Рейхрудель.

Накрапывает. Подоконник. Скрежет
трамвая угол Кировской отрезет.

Потом романс «Я вновь перед тобою...»
Светло-вишнёвые обои.

В квартире шумно, многожительно.
И некуда деваться положительно.

Я всё снесу. Куда снесёшь? Не смей.
В ломбард. Мне опротивел мой
дом. Я не выдержу своей
насмешки над самим собой.

Пора и честь знать. Что за чёртов дом.
И с улицы, как выстрел, гром.

ЗДЕСЬ И ТАМ

(романс)

Не надо рук заломленных смятенья,
рыданий на расхристанных пирах,
явь смерти — там, здесь — нега сновиденья
о тех мирах.

Хоть игра родней,
не юродствуй, ой
да быть собой трудней,
чем не собой.

В сон клонит из докучливого бденья, —
как хорошо в молчанье и тепле!
Сон жизни — здесь, там — сила пробужденья
в жизнь на земле.

Хоть и ночи тьма
подступает, ой
да не сходи с ума,
побудь собой.

Ты только здесь в покое колыбельном,
ты только там в безщадных небесах,
есть «здесь» и «там» в дыханье нераздельном,
как на весах.

Хоть тяжёл твой крест
непосильно, ой
да надо, надо несть,
чтоб стать собой.

ВИНА

Помню ещё иглы
проблеск и мать, она
шьёт, в закоулке мглы
лампой освещена.

А на исходе дня
зимнего, под окном,
держит она меня
за руку перед сном.

Лет через сорок пять,
в том же углу, она
всё, что могла, — лежать,
парализована.

Руку её держал
маленькую, когда
в путь её провожал
отсюда туда.

С нею был, но не весь,
тёплой была рука,
в том виноват, что здесь
оставался пока.

Жизни тонкая нить
вдета в иголку-смерть.
Чтобы вину избыть,
следует умереть.

РОЛЬ

Так написана роль.
Надо сыграть суметь.

В. Черешня

Жизнь предъявляет боль.
Сопrotивляться нет
сил. Это значит — роль
кончена. Гаснет свет.

Делу, король, венец.
В тьму замурованный,
кто ты теперь? Мертвец
загримированный.

Как в зазеркалье путь —
путь в закулисы, вдоль
фосфорных меток, чуть
видимых, мой король.

Чудо-посмертный-сон —
аплодисментов шквал.
Знать, зовут на поклон.
Ты хорошо сыграл.

ОДА ОЛЕ ГОЛОВИНОЙ

Средь юности моей соучениц
великолепная одна
мне вспомнилась, я упадаю ниц,
пою тебя, Головина!
Вот Оленька, вот ты стоишь
на чувств подростка острие,
и шея тонкая, и говоришь,
о, длинношеее в три «е»!

Грехи мои зачав, пусть не со мной
спя, Оленька, ты яркий яд
влила мне в ухо, в головной
мозг, где взъярённых мыслей сад
расцвел, и в нём
забил фонтан, —
твой язычок во рту огнём
мелькал, а голос твой, — гортанн,

гортанн, и нежен, и поющ,
я слышу весь
колоратурный этот плющ, —
столь вьётся он во мне по днесь!
Головина, о, с кем бы ни спалось
тебе, боготворил любя,
сказать ли, что, задету вскользь
распадом, я встречал тебя

поздней, что ты спилась, что зуб
исчез, потом второй,
что ты однажды стала труп,
осенней лиственной порой,
на том углу упав,
где вся твоя была прекрасна стать,
включая тазобедренный сустав?..
Нет, правде нынче не бывать!

Ты на углу стоишь, манящ
твой взгляд, в губах
улыбка змейкой, серый плащ
тобой пропах,
в нём притаились духи
и нежный похотливый пот,
о, все во мне зачатые грехи
поэт растроганный поёт!

С ПОХОРОН

О, «когито» блеснувший коготок,
вцепившийся в моё существованье,
застрявший в нём! Что значит слово «Бог»,
как не Его дыханье?

Что может быть прекраснее, чем снег
и дерево в ветвящемся ознобе?
Жизнь жительствоует, мёртвый человек
не одинок во гробе.

Не новая ль звезда вонзилась в синь,
как бы с земли взметённая шутиха?
Не гаснет Твой небесный свет. Аминь.
Неотвратимо. Тихо.

ИСТОК

Надо удержать момент незнания,
мысль к себе не подпустить, —
так подвешен маятник, до созиданья
времени, и неподвижна нить.

Так бывает в солнечном соборе, —
входишь с площади, и там, в тиши,
есть секунда до страстей-историй,
вписанных любовно в витражи.

Но пока не шелохнутся нити
и ни жалости, ни скорби нет,
подбирают для тебя наитье,
чтобы из незнания ты шагнул на свет.

ДИТЯ ВОЗЛЕ ПЕКАРНИ

он стоит в окне смуглый бог
и раскатывает теста комок
скалкой быстрой до тоньшины
до песчаной белой его тишины
а потом он вертит в воздухе гибкий лист
цирковой артист
а потом он валяет его в муке
и висит раскатанный на большой руке
на руке большой мускулистой
вечер огненно-мглистый
вечер огненно-мглистый
я смотрю как он режет перец и помидор
как шинкует съедобный сор
натирает сыр смуглый бог красив
моцарелла мидии чернослив

как откроет он раскалённу печь
так во мне шевельнётся речь
я хочу увидеть как из печи
пицца выедет круглая и мелькнёт в ночи
полушарием карты мелькнёт почти
погоды погоди
не тyani не могу наглядеться я
там италия это греция
тянет мама за руку неумолчно
млечный огненноночный
млечный огненноночный

путь над площадью противень раскалён
по наклонной разгон
и всех запахов и цветов прилив
моцарелла мидии чернослив

ОНА

Ах, она вздыхает в своей клетке,
птица, выбравшая счастливый плен,
рифма её окликнула — и с шумной ветки
она слетела в комнату тихих стен.

Хозяин кормит её, поит, холит,
возлюбленный прилетает к окну,
она вздыхает: «Никто меня не неволит...»
И предаётся изменническому сну.

Обречённость — чудная её участь.
Ах, возлюбленному и невдомёк,
как она щебечет с хозяином, вся озвучась!
Эрос, эрос неволи, всесильный бог.

У СТЕНЫ

За того, кто болен неизлечимо
и кому так страшно в ночи сейчас,
помолись, прохожий, идущий мимо,
возле стен больничных остановясь.

Всё, к чему ты себя приладил,
разрастаясь то ввысь, то вширь,
знал и тот, который утратил
смысла праздноцветущий мир.
Там борьба не на жизнь, а на смерть,
вникни, — может быть, в кирпичи
вшепчешь силу, с которой гаснуть
легче будет измученному в ночи.

РОДИТЕЛИ НА ЗАКАТЕ ДНЯ

Когда б они взглянули на меня
сейчас, я эту мысль не подпускаю,
но прорывается, гоня
себя к неведомому краю,
точной — к тому, где я на них смотрю
и ничего не вижу, но в усилье
непререкаемом к ним путь торю,
как если б там, между небесной синью
и синью моря, что совсем слились,
увидел нить, как если б ухватиться
хотел и заглянуть за край... Проснись.
Или усни совсем — и прояснится.
И слышу голоса, они идут
по набережной, с ними мальчик,
«в ничто на свете не влюблённый...
тёмно-зелёный...»
крон остывает изумруд,
ещё ни снов, ни мыслей мрачных,
и плещутся флажки на мачтах.

ДЕНЬ МАНДЕЛЬШТАМА

Зыбилось вокруг да около,
вдруг увиделось насквозь:
городок как сердце ёкнуло,
а потом оборвалось.

Небо северной Нормандии,
расступилось, и собор —
островерхая громадина —
осветился в слове «взор»,

в сочетанье этом пристальном
букв, в прицельном их строю.
В улиц радиусы, к пристаням
уходящие, смотрю.

Не случайна жизни чистая
кружевная светотень.
Луч и суть его лучистая
улучили этот день.

ВОЗЛЕ ТЕЛЕФОНА

Если нас выкручивать, как бельё,
капнет капля жалости, капля презренья,
капля любви, ты слышишь меня, аллё...
Но связи нет, как до сотворенья...

С кем говорил я?.. Разве я говорил?..
Вспомнил лицо её — и захлестнуло горе.
Кто и зачем нас так сотворил,
чтобы найти сегодня в разоре?
Нет, я вспомнил точнее: по её лицу
пробежала светлая тень, и слеза омыла
глаз, но пресеклась на краю.
Почему не спросил я, что это было?..
Может быть, увидела красоту вещей,
абсолютную, без единой фальши,
и подумала, что мы уступаем ей
по всему периметру и гораздо дальше.

СТОП-КАДР

Документальный фильм. Расстрел.
Вчера смотрел.

Толкают в яму,
допустим, Зяму.

Земля сыра.
В голове дыра.

Теперь стоит раскидистое дерево.
Посёлок Зверевево.

ШПАЛЕРНАЯ

Напиши стишок,
как холщовый мешок
шьют для писем
Ваням-Изям.

Как прошения в нём
у помойки той
ночью жгут, не днём.
Там постой.

В том дворе самом
жил я много лет,
где в тридцать седьмом
жёны шли след в след.

Воздух дня пропах
весь бензином там.
Чёрный страх,
стыд и срам.

Стыд, и срам, и плач.
Ты на рифмы зов
выскользай, палач,
из ночных пазов.

Выскользай, кровав,
сучий пёс.
Кто убил, тот прав
в молотье колёс.

Вон горит мешок
под его смешок, —
слёзы жён, невест
искрами до звезд.

Корчи жалоб-просьб
(«...если б не донос,
кантоваться врозь б
не пришлось...»).

А гэбэшный хряк
под горящий вой
отогрелся так,
что опять живой.

КОВЧЕГ

Крюк меж дверей, где упокоен хлам, —
две щётки, вакса, ношенная обувь,
тряпьё, — дай выброшу, не дам,
закроемся, жизнь обособив,

проброс цепочки и щеколды щёлк,
ковчег квартиры отплывает,
дай выброшу, не дам, я знаю толк
в руинах, голова пылает,

всего по паре: стариков, детей,
брюк, обуви, очков, перчаток...
есть что-нибудь от Ноя? нет вестей...
никто из них, в любви зачатых,

не выживет, никто, семья
проглочена ночной утробой...
вот только слёз не надо, видишь, я
их всех забыл... Забыл. И ты попробуй.

НОЧНЫЕ ВЕЩИ

1

На красном стуле, возле
дивана моего,
щёлкнул копытцем ослик
Кузмин легко.
Я проснулся его увидеть,
но простыл и след,
только тихонько тикать
продолжает брегет.
Чудное происшествие
жизни. Зачем же спесь?
Не надо божественного.
Всё уже здесь.

2

Выгляни — снегоборочный
работает комбайн,
полночью обморочной,
ископаемый тайн.
Площадь великолепная,
как хлопущка, пуста,
снега толпа безбилетная
целует комбайн в уста.

3

Вот в счастливейшем он позднем детстве
входит в комнату, — и тут
ему отдают салют
книги, стройные зеленогвардейцы.

Он лежит, и затуманивается блаженно
шрифт страниц,
и мерцанью зарниц
отвечает окно и стихает отдохновенно.

И сейчас, случается, спать я ложусь
и вслух улыбаюсь,
как будто влюбляюсь.
Неужели когда-то я этого счастья лишусь?

4

зелёного лука с бородкой пучок
лежит как китаец живой старичок
а репчатый тоже китаец
покатится жёлтый и станет катаец
а красные перцы
удобренных грядок округлые сердца
а там багровеет гранат
своей скрупулёзной зернистости рад
а там голова помидора
как жертва лежит термидора
и как дирижабли лежат баклажаны
и грузно арбузы одеты в пижамы
так ночью я умственным зреньем
прильнул к заболоцким твореньям

5

Вероятность родиться собой —
исключительный ноль,
нежный ноль голубой.
Но он выпростал ручку и, ею махнув, стал бемоль.

Воздух чист, головастик-бемоль
шевелинулся в воде,
жизнеюрякая голь,
и трёхкамерным сердцем забился на нотном листе.

Читающий расписание

ДЕНЬ НОЯБРЬСКИЙ

*День ноябрьский, ветреный. Мне пора.
Подойду прочесть под мостом расписание.
За стеклом таракан полумёртвый и номера
автобусов, прибывание и отбывание.*

*Ехать, ехать и ехать бы, не выходя,
ни о чём не думать, то есть не думать плохо
ни о чём, — не в этом ли смысл дождя,
солнца, дерева, облака, выдоха-вдоха?*

*Между двух городков ослепит река.
Я зажмурюсь, чтобы людей многокоость
не нашла меня, человек — он в тягость слезка,
а зажмуришься — сразу немного в лёгкость.*

*Ни за что, ни за что, ни за что бы не стал
разных страхов пугаться, если бы не мелькание
мыслей и перед глазами весь день не стоял
таракан, читающий расписание.*

1. ПО ДОСТОЧКЕ

Не смерть страшна, а расставание
с отдельно взятым человеком,
я космосу шлю завывание,
его рассыпанным в ночи аптекам,

пусть вышлет мне в ответ лекарство,
я буду принимать по горсточке,
чтоб в Божье перейти мне Царствие,
как лужу в детствии по досточке.

2. В ЯРКОСТИ

Мне жизнь припомнилась отчётливо,
я вдруг увидел кухню в яркости,
где мать с отцом неповоротливо
готовят скромный ужин старости:
пугливым круговым движением
обнесена конфорка спичкою...
В окне и в сердце отражением
той кухни с чиркнувшею птичкою —
я взволновался весь и в трепете
стал собирать слова, чтоб выдержать
напор тоски и в этом лепете
из пристальных видений выбежать.

3. БЫВАЕТ, СНЕГ ИДЁТ

Бывает, снег идёт — а с чем сравнить его
неукоснительное выпаденье?
По синеве идёт как по наитию,
не передать — небесное виденье!

Бывает, не могу с виденьем справиться —
и выпью, а жена взбранится — вспыхну...
Теперь молчит смиренная красавица.
О, невозбранно выпью — и затихну.

4. ЖЕНА

Непоздний вечер. Восемь пятнадцать.
Жена ушла спать и прикрыла дверь.
Она сумасшедшая. Восемь шестнадцать.
На площади за окном отдыхает сквер.

Я слушаю ветер. Восемь семнадцать.
В него вплетается щебет птиц.
Жена любит каждый день просыпаться
и плыть на работу, где скопище лиц.

Она на чулочной фабрике двумя руками
девять часов шьёт целый день,
им выдают зарплату иногда коврами,
мы отдалённо не знаем, куда их деть.

Она садится на пристани в белую лодку,
в пять десять отчаливает, пока я сплю.
Я поздно лёг, я жалел жену-идiotку.
Я сам не знаю, как эту жизнь дотерплю.

5. В ПАРЕ

С понедельника целиком забиваюсь я в тишину,
становясь опять перебежчиком от одних
выходных к другим: молчаливо жну,
что посеял, сею опять, заготавливаю жмых.

А жена забивается в свой за стеной отсек,
что-то мелет, просеивает, варит, ткёт.
И соседи — стекольщик, молотобоец и дровосек —
не покладая рук работают, эти два и тот.

Нас с женою держит мысль на плаву,
что пойдём в выходные кормить в пруду
черепашу, — она из панцирной книги своей главу
выдвигает морщинисто, просит дать еду.

Мы с женой не очень-то меж собой говорим,
только держимся за руки иногда,
а свободными — бросаем еду, и так стоим,
и слегка краснеем, если кто видит нас, от стыда.

6. ЧАСЫ И ОЧКИ

Я вспомнил друга юных лет
и за два шага до входных
ворот заплакал: друга нет.
Потом, когда вошёл я в них,

такой случился разворот
в движеньях жизни: снял очки
и положил их на комод,
к часам (я слышал их скачки).
Потом немного отошёл
и оглянулся — как лежат? —
и заново к ним подошёл —
нехороши они на взгляд.
Нет соразмерности начал
у двух вещей: то далеки,
а то близки чрезмерно. Стал
часы я двигать и очки.
Потом волнение улеглось.
Пришла жена, глядит: часы
лежат согласно, хоть и врозь
с очками в капельках слезы.

7. ДИКТАНТ

Синь беспредельна.
Воздух бесплотен.
Утро прицельно.
Вечер вольготен.

Отдых отраден.
Тяжесть несметна.
День беспощаден.
Ночь милосердна.

Радость животна.
Грусть человечна.
Жизнь мимолётна.
Смерть бесконечна.

8. ЗАБЫТЬЁ

Над газоном вспыхивают светлячки,
выше, ниже, наобум,
как шахтёры вылезли и на крючки
лампы вешают, забыв свой ум.
Вот вечерняя какая воркута
разворачивается в караганде,
я смотрю, смотрю в окно, смотрю туда —
где меня нигде.
Или то смертельно-тихий бой
душ давно в земле истлевших тел?
Обернёшься — и вдогонку за собой.
На подножку прыгнешь разума — успел.

9. В ПОЗДНИЙ ЧАС

за окном игольчатый шпиль
это ель горит на закате
вот приходит жена вытирает пыль
вытирает пыль гладит платье

иногда смотрю на неё
совершенно стоит чужая
вот сгребает она постирать бельё
жалость в сердце моём большая

но сказать что сблизило нас
не скажу в голове смешалось
а когда породнились сближались раз
даже больше за ночь сближались

помню мне казалось тогда
что мы тени друг друга
что в любви теряешь себя навсегда
видишь выбрались из недуга

и теперь мы странно стоим
на виду у пустой вселенной
а бывает сидим по углам своим
и молчим в тоске постепенной

10. НА ОТШИБЕ

Мы выходим всё реже,
больше дома сидим
да латаем бреши
в молчанье словом простым.

К нам никто не стучится,
дверь закрыта на крюк.
Только «скорой» в ночи волчица
воет от человеческих мук.

11. ОБОРОНА

Раз в году или даже два
мы сидим в гостях или гости
к нам приходят, жена едва
их выносит, но терпит в злости.
Не двужильна. Душестоянье ей
тяжело даётся, я слышу,
как она арматурой всей
скрипит, держит крышу.
Если ж спор у меня зайдёт
с собеседником (я в подпитье
жарок и говорлив), а тот
обладает встречною прытью,
и меня пытается одолеть,
и меня в ответ распыляет,
тут жена всю грудную клетку
напрягает и громко лает.

Унижать меня ей одной
позволяется, а на прочих
лает остервенело, я ей родной,
из трущоб её чернорабочих.
Разбегается по четырём ветрам
люди застольный, двужильный,
и разносится лай по дворам,
настигающий, сильный.

12. ОРЁЛ

Прилетела птица, сидит под окном,
перья вздыблены, смотрит вяло.
В человеческий рост. Я сказал потом:
«Кто сидит там?» Она сказала:
«Кто сидит?» Я сказал: «Сидит у окна
птица. Дыбом серые перья». —
«С перепоею привиделось?» — сказала она.
Я сказал: «Глянь сама, моя пери».
К запотевшему ноябрьскому окну
она подошла, увидела и сказала:
«Это — птица орёл». Я взглянул на жену —
в ней глаза были — два вокзала,
провожающих неизвестно зачем, куда
и кого, провожающих два — и точка.
«Может, это решка, а не орёл?» Ни да
не слышал, ни нет. Ни одного гудочка.

13. В ВЫХОДНЫЕ

Вечерами решаю «мат в три хода»
(у меня есть сборник задач),
по утрам, в выходные, когда погода
смотрит в окна, слышу безмолвный плач —
она стирает с шахматных фигур пыль,
ставит на место их, справа и слева,
о, взаимообразный штиль
дня... Это «вилка», «вилка» нам, королева!
— Так вот проходит жизнь... — вздыхает. —
Обещал научить играть — не научил... —
Заоконный ветер валы вздымает
и внезапно гаснет, лишившись сил.

14. КОГДА МЕТЕЛЬ

Когда метелью дом заносит,
тогда под собеседника
лишь ветер косит,
но как-то бедненько.

Закрыв свой магазин лабазник,
тоскует благоверная,
и вроде праздник,
а грусть безмерная.

Так окна залепляет пряжей,
такие тают таиньки,
что мы пораньше
ложимся баиньки.

Не надо больше зло и цепко
дышать и виться полозом,
а только крепко
спать, мёртвым образом.

15. ПРИЯТЕЛЬ

Заводской приятель мне написал письмо.
В мастера продвинулся ты — пишет — взяткой, лестью...
Что взбрело ему в голову, он был само
добродушие, отличался честью,

а особенно — кротостью... Пишет: ты фальшив.
Пишет: ты меня ни во что не ставишь...
С ним случился какой-то взрыв,
очень внутренний, и ничего не поправишь.

— Он тебе позавидовал из-за двух медяков.
Что ты плачешь? — спросила Лида. — Я думал, —
отвечаю, — он Мышкин, а он совсем Смердяков.
Жалко. Жил человек — и вдруг себя сдунул,

и теперь он в луже лежит, в грязи, —
так сказал я, скомкав письмо. Минутой
позже слышу из кухни: «Гром меня, блядь, разрази,
я всегда говорила: гнилой и дутый!»

16. ГОРЕСТЬ И ОТРАДА

В понедельник рабочая
наступает неделя, то есть
пятиглавая тварь, охочая
нашу повесть
осквернить, как любую прочую...
То-то горесть!

Я не помню ни вторника,
ни среды с четвергом, зато уж
не боюсь по пятницам окрика:
что, мол, топишь
в водке разум! — я вроде нолика,
мёртвый то бишь.

А в субботу спокойная
вечереет жизнь, без азарта.
Словно цепью единой, скованы
песней барда,
мы танцуем с Лидой под Коэна
Леонарда.

Но зато (воскресение!)
в день седьмой на дорожках сада
осеняет нас (во спасение!)
листопада
дуновенье светлоосеннее.
Вот отрада!

17. ЕДУ НА РАБОТУ

Серый платформенный
форменный ливень,
веником пахнет вагон.
Муха влетает по траектории,
«скорая» воет с открытого
крытого воздуха под мостом.

Где-нибудь на четвёртой
вёрткая муха во тьму
тюкнется, вылетит прочь.
Значит — бездомная, и по имени
именно эту никто не окликнет.
Бликами блёкнет ночь.

Или же встречного поезда,
боязно под козырьком
зыркая, чуть подождёт
(сокр.: пока дождь идёт).
Дёготь тяжёлых шпал.
Палевый небосвод.

Что за бесцельный, муха,
ухнувший туда-сюда
дальний-недальний путь?
«Скорая» едет обратно.
Радуетя в вагоне дитя,
тянется, хочет прильнуть.

18. ФЛЮИДЫ

Дома Лида моя ходит в шерстяных
тапочках по ковру, и у Лиды
накапляется электричество, тронет — вспых
между нами, искры летят. Флюиды.

Даже комната освещается. Может быть
(мой сосед-учёный говорит «может статься»),
подсознательно она хочет меня убить.
Но сознательно — приласкаться.

Иногда сильнейший проходит ток.
Я кричу ей: «Господи, больно, Лида!
Мы ведь жизнь отбываем, а не тюремный срок,
мы ведь два человека, а не болида.

Что за странное, Лида, высекновенье огня!»
Но в её глазах не злой огонь — неизвестный.
Может статься, она полюбит меня
хочет для оправданья совместной.

19. БУДЕНЬ

Лида моя одевается и говорит: «Похолодало.
Ты слышишь?» Отвечаю: «Почти».
Говорит: «Я ватник твой залатала.
Похолодало». И потом добавляет: «Учти».

Вся жизнь наша прошла на первом
этаже, близко к холоду и земле.
Вряд ли она была перлом.
Я говорю: «Не забудь брильянтовое кольцо».

Она надевает крупно-зелёные бусы,
боты, шарф, шапку, пальто
и уходит на фабрику. Наши узы
всё прочней. По вечерам мы играем в лото.

Как уютно узор на коробке сверкает!
С детства я привязан к бочоночкам дорогим,
а теперь и к Лиде, как она выкликает
номера, один за другим, один за другим.

20. ОХОТА

Она влетела: «Мышь в столовой!»
Я выпил порцию свою
(о, серенький сюжет, не новый,
расхожий, бездны на краю!

Плутон, своей подземной сворой
зачем наш тихий рай мрачишь?)
и вышел: замерев над шторой,
сидела крошечная мышь.

Лишившись речи, то есть дара,
которым славен человек,
перед ней два перпендикуляра
остановили жизни бег.

Там, под землёй, где червь и овощ,
где кость, и уголь, и руда,
она не видела чудовищ,
подобных этим, никогда.

«Как я боюсь мышей!» — вскричало
одно из них, и тут же, чёлн
наняв, я оттолкнул с причала
подземницу, печали полн.

«Зачем мы все не разминулись? —
я думал. — Не было бы зла...»
Шумел как мышь, деревья гнулись,
а ночка тёмная была.

21. ПЕРЕЛЬМАН, ЛИДА И Я

Он вычисляет объём пустот,
он, как коров, их пасёт,
не помышляя о выгодах
на галактических выгонах,
гений Григорий
Яковлевич, царь теорий.

Вижу смиренного пастуха,
солнц полыхают стога,
тьма между ними пустотная...
Лида сказала, штопая:
«“Правлю Вселенной”, —
говорит твой смиренный».

Но я не слышал её уже.
Остановясь на меже,
схлопнулось время скверное.
Лида моя трёхмерная!
Ты иллюзорна?
Истинна? Нерукотворна?

22. НЕКРАСОВ, ЛИДА И Я

Долго, долго травку приминали —
и затихли... Было время горше и
желчнее, когда припоминали
что-нибудь друг другу нехорошее.

Было время — слова не проронишь! —
ревности и вздохов укоризненных,
а не то внезапных слёз — ты помнишь? —
обвинений грозных, мной не признанных,

да и я бывал в себе неистов,
всё, казалось, насмерть опозорено,
но молчал как рыба, зубы стиснув,
а была не раз ты заподозрена.

Молодость чем хочет, тем и ранит:
то молчанием, то словом глупости,
ни бельмеса — только темперамент
с жаждой быть любимым в совокупности.

Ах ты, Лида, Лидушка, теперь-то
спим с тобой в согласии и слитности,
дай-ка мне снотворного десерта
после блюд постылых ненасытности.

23. С ЛИДОЙ

Много мелких дел. С пузырьками идёшь ко дну.
Как проходит жизнь, Лида! — в сердцах вздохну.
Что ни шкафчик, откроешь — валится требуха
на голову, избыток вещей, местная «вднх».
Помнишь колхозницу и рабочего? — её нога
и его открывали коммунистические бега.

Много мелких забегов. В бухгалтерию, в магазин.
Мы оказались хромы, Лида. Где деньги, Зин?
Высоцкий умер тридцать один год назад.
Помнишь рваный, магнитофонный его надсад?
Наши дети в слезах ходили тогда в детсад,
и, пока стояла ночь на дворе, спасал «керосин».

А теперь другая заправка, круговращенье цифр,
шланг уткнулся в бак, подбирает к «лексусу» шифр.
Не такой был лакмус у нас, другая была среда,
мы читали роман о Мастере и Маргарите тогда.
Он о страхе, о трусости, об умывании рук,
потому и любовь там — слащавый недуг.

Автор, думаю, замышлял иначе, да ведь и нам
соответствовать замыслу не удалось, мадам.
Много мелких дел, неотложных, скорых, и тот,
кто звонит «ноль один», набирает не телефон, а счёт,
как сказал бы Бродский. Он тоже тогда был чтим.
Что сказать мне о нём? Я восхищаюсь им.

Я скажу тебе, Лида, — ты только слезу утри,
неудобно всё же, — что он и ещё два-три
украшали пейзаж, пока не украсили навсегда.
Как-никак мы выстояли в грехе. А без них беда.
Я заначил шкалик, он там — да не плачь ты, ну! —
где стоят китайцы На Лей и Вы Пей, пойдём ко дну.

24. ПИСЬМО

Едва получено письмо,
ещё конверт не вскрыт...
Есть беглый страх прочесть его
и вслед за страхом — стыд.

Не в ожидании вестей
ненастных ты притих...
Есть в почерке набег гостей
непрошенных, родных.

Стоишь, в молчав свою вину
в проём окна, весной...
Так нарушают тишину
чуть большей тишиной.

25. ПИСЬМА БРАТУ

1

Брат, мой подвиг (в кавычках) ратный
кончился до гудка,
раньше я выпивал изрядно,
а теперь — ни глотка.

Раньше мог я сыграть «Собачий
вальс», когда подопью,
и запеть, а теперь иначе —
онемел, не пою.

Брат, с тех пор как не стало сына,
мы с женой ни гу-гу.
Раньше я подходил к «пьянино»,
а теперь не могу.

Скверно то, что я в этом «раньше»
свет забыл погасить...
Нынче в доме у нас тишайше,
приезжай погостить.

2

Одиночество, брат, такое —
иногда гуляю по магазину,
пёстрый он, продуктовый,
иногда с тоскою
торможу, забывшись, — то рот разину,
то губа — подковой.

У меня отчаяние — внутри я
непрестанно плачу слезами,
а наружно стараюсь
быть как прибранная витрина.
Но рука на ветру уже не удержит знамя,
это — старость.

А недавно я к дому мчался,
точно пущенный из мортиры, —
не успел, правда, малость,
обмочился,
ах, как пигалица из соседней квартиры
в кулачок смеялась!

Я сдаю позиции, вероятно,
а кому — неизвестно, их-то
вряд ли кто атакует,
кончен ратный
подвиг, брат, затихает под вечер пихта,
пихта тоже тоскует.

Мне хотелось означить
пребывание здесь, но кротки
были силы и сникли рано,
скажут: значит,
отродясь никогда и не было в околотке
никакого Ивана.

26. ПОСЛЕ КЛАДБИЩА

Читаю, слышишь, по пути: «Вчерашняя
Раиса Львовна» и «Вчерашний
Григорий Маркович». Пустяшная
ирония, а так — покой всегдашний.
Прошёл к родным могилам и прибрал их.
Немного белых положил, немного алых.

Пластмассовые два стаканчика
достал, кусочек хлеба,
ты замечала, что на кладбище
всегда синее небо,
чем в городе? потом налил грамм по сто
себе и фотографии с погоста.

«Сын, — я сказал, — напрасно ты,
неправильно всё это, рано,
и потому теперь мы разняты,
незаживающая рана...»
Потом пешком от Невской
заставы шёл, а ветер нынче резкий.

Слова сказал без осуждения,
но, кажется, чуть с укоризной.
Смерть превращает день рождения
в трагедию, она зовётся жизнью.
Как ты считаешь, Лида? Спишь? Сегодня
мне костью в горле промышленение Господне.

27. НОЧЬЮ

Я вглядываюсь в шум,
и вслушиваюсь в цвет,
и крон ветвистый ум
вдыхаю. Смерти нет.

Так вспенилась листва
в сегодняшней ночи
всей силой естества,
что смерти нет. Молчи.

Подъём. Подъём и спад.
Спад, и опять подъём.
Чтоб жили те, кто спят
необоримым сном.

28. ПРИЁМНЫЙ ДЕНЬ

Жена поднимается в пять,
ещё за окном темно.
У нас так рано вставать
издавна заведено.

Я поднимаюсь в шесть,
тоже не поздний час.
Выпал снег? Так и есть.
Я зажигаю газ.

Вижу: полуодетая у окна
полуспит, и я полусплю,
а потом она
гладит юбку свою.

Не разминёшься вдруг —
тесно. Хоть мы года
вместе, но стесняемся друг
друга-то иногда.

Раньше мы голых тел
не стыдились с ней, —
видно, ангел слетел,
который скромней.

Ангел не любит спешить.
Нам этот день с женой
надо усыновить,
чтобы он стал родной.

29. МОНОЛОГ

Ты как бешеная сегодня с фабрики.
Виноват я разве, что тяжело?
У меня в горячем цеху, как в Африке,
тоже сумасшедшее пекло.
Раскудахталась на ночь! Ещё ночлегом
вечным насытимся, не тирань,
не заламывать же перед ковчегом
руки друг другу, танцуя дрянь!
А чтоб нам без мелкого кровопролития
обойтись, иди-ка на свой насест...

Что вдвоём жизнь наша, Лидия?
Капля радости в море, а больше крест.
Я ведь помню, как улетал в годичную
командировку, помню аэропорт
и фигуру твою горемычную,
как ты плакала и кривила рот,
а теперь ни при какой погоде
не проявишь жалости к своей родне, —
может, если б не было меня в природе,
загрустила б ты, затосковала по мне.

30. ТОЧКА

Улеглось и то, что, казалось,
не уляжется никогда.
Сердце сжалось, потом разжалось.
Умереть от стыда.

Отворилась дверь, затворилась.
Щёлкнул кто-то «чик-трак» ключом.
Вообще, с кем это творилось?
И творилось о чём?

Развернулось, потом свернулось
в ту же точку, где жизнь твоя
краткой длительностью проснулась,
своё тая.

31. БЛОКАДНАЯ БАЛЛАДА

Жили мы на Шкапина, трое в комнате,
улица вела к вокзалу, вокзал — к стране,
улица промышленная в саже-копоти,
мать, мы с братом, отец на войне.

В память невеликую мою, утлую
врезалось: воронка, мы с соседом моим
смотрим, как откачивают воду мутную,
воду мутную, вдвоём стоим.

После — голод, крошки хлеба не выклянчишь,
трупы сплошь: на тротуаре, на мостовой,
я боюсь покойников, но сердце выключишь —
и живёшь как мёртвый, но живой.

Штабелями складывали их в загоне
у вокзала нашего, помню, что когда
одного несли — в нём булькала, как в бидоне,
переливалась внутри вода.

Что ужаснее мора многолюдного?
От ранений лучше погибнуть пулевых,
но в сраженье, а не от голода лютого,
от нехватки плодов полевых.

Жили мы на Шкапина, двое в комнате,
мать пристроила брата к добрым людям, след
затерялся надолго в военном грохоте,
а нашёлся через тридцать лет.

Животину выпятивши рахитную,
помню, как девчонка плачет, щёки дрожат,
что отец лежит, лежит да под ракитою,
а над ним что вóроны кружат.

Многого не помню, мал я был годами,
к третьему лету войны начал доходить,
тётка Люда съестъ меня предлагала маме,
людоедка, что и говорить.

Плач недавно я читал Иеремии
и, когда на это наткнулся, весь притих:
руки мягкосердых женщин детей варили,
чтобы стали пищею для них.

Словом Господа всё земное сдобрено,
тех, мол, и наказываю, кого люблю.
Значит, нас любил Господь как-то особенно.
Да, особенно. Вот и терплю.

32. ПРОБЛЕСК

Просыпаясь, рассвета кайму
вижу, юркая птица сверкает.
Разве можно не верить Тому,
Кто воистину так окрыляет?

Лида, это превыше всего,
я незыблемо счастлив,
узкий луч на стене,
утренняя прохлада,

вот он, белый налив на весу,
тельце мраморное с ведёрком
у реки, вот под мышкой несус
книгу «Кортик»,

вот проездом
переблеск в лесу паутинный,
перелесок болотно-тинный,
и лиловый, соседний

холодок, резкий воздух осенний —
вот хрустальный его кубометр,
вот он — с похолоданьем,
в освещенье комет,

вот он, необратимый,
в снег истаивающей лыжнёй
уходящий, родимый
путь, он к ночи слышней.

Сладок сон, только дай погасить
лампу, отдых блаженный,
хорошо было жить,
совершенно!

Собираясь в последнюю тьму,
говорю: «Принимай, я уложен».
Разве можно не верить Тому,
Кто воистину так безнадёжен?

33. ВЕЧЕР

Тише становится, тише, тише, —
ни пешехода, небо
гаснет, его угасанье — свыше,
словно бы ангел умер.

Солнце садится, и розовеют
только верхи деревьев.
Если же ангела прах развеют,
выпадет снег под утро.

ТЕХНИКА РАССТАВАНЬЯ

1

*Надо отладить технику расставанья,
тянущегося от живота до горла,
где глухонемая птица повествованья
машет крыльями голо.*

*И когда слетает внезапная птица эта
на кормушку сердца, миная мозг твой, —
выставляяй знак запрета,
отгоняя глухонемую в её край заморский.*

2

*Расставанье — окна любви и сетования.
Приглуши песню жалости об одиноком,
чтобы поезд дальнего следования
стал сплошной полосой без окон,*

*чтобы просто существовал как данность,
не обнаруживая смысла, не жалея.
Стой на полосе отчуждения, отчуждаясь,
пока не скрылись из виду его детали.*

*Пусть выгорают цвета дорогой палитры
и замолкают всё бережней и безбрежней
шатуны, рычаги, фонари, цилиндры,
дымовые трубы и золотниковые стержни.*

*Когда собирается вроде тучи
тяжёлая мысль, угрожая
припадком падучей,
и гиблого ждёт урожая,
когда шевеление её близко,
и тени выходят из ниши,
и ласточки низко
хлопочут, ныряя под крыши,
я строю привычную оборону
из кавалерии лёгких
залётных (лишь трону —
взовьются), от горя далёких,
я быстро по дому иду со спичкой,
и вот уже свечи пылают,
и страх мой привычка
лечебной пылью опыляет.*

Видение

I

1

Холоден пейзаж и нем,
коченеет поле, залитое
фиолетовым сияньем.
Эта часть земли — твоя,
твой улов подлёдных тем,
поле, лунным занятое
светом, монолитное,
с дальним следом санным.

2

Неба школьная доска,
яма антрацита угольная.
Опрокинута повозка
звёзд многоугольная.
Снег, ступающий с носка,
снег, витрина кукольная,
улица продольная,
между штор полоска.

3

Дальше, мимо гаражей, —
с одного из них я спрыгиваю
и тону в сугробе, — рыжий
пёсий след под ивою.
Ночь всё ярче и свежей,
гранями поскрипывая,
озаряет дивную
стынь под звёздной крышей.

4

Дальше, в подворотне лязг, —
помнишь, в том доме выгаивали
жизнь для материнской ласки,
колыбель поставили, —
отворяй, — здесь в твой Дамаск
путь, в твою Италию ли, —
ну, засов отваливай,
снаряжай салазки.

5

За верёвку потяни —
тронутся кустами медленными
с шерстяной подстилкой сани.
Там сарай с поленьями,

там колючие огни,
глыбы льда с расщелинами,
где гулять не велено,
там фигурка Ани.

6

Вот она передо мной,
дотянуться можно, — маленькая
девочка стоит на тёмной
горке за мельканьями
снега. Как тебе одной,
с сердца замираньями,
с далями бескрайними
здесь, в ночи огромной?

7

Перескок в весну, толпа
школьников, шкатулка лаковая
мая — воробьиный лепет,
небо многоликое.
Мотылька смахнёшь со лба, —
и движенье ласковое,
с моим взглядом слитное,
дарит страх и трепет.

8

Трепет марлевый, сачок,
Карповка, баржа притопленная,
по ветвям пробежка почек
до-ре-ми-фа-сольная,
человечек-родничок
родниковой крови полон,
ветра воля вольная,
божественный почерк.

9

Мир блистает на ветру,
точно это ветка ивовая
выстругана, вёрткая,
глянцевито-новая.
Ну, снимай с вещей кору,
чтобы свежесть ливневая
стала повседневною
речью без обёртки.

10

Нарождается листва,
поровну всем в этой начатости
роздано, ни превосходства
нет, ни нарочитости.

Ты была насквозь права,
не изведав значимости
собственной, ни чинности
взрослого уродства.

11

Баснословные края,
зелень сада Ботанического,
потная оранжерея.
В дрожи чувства чистого
прочь бежит душа моя,
из того панического
пальмово-лучистого
страха — прочь скорее!

12

Вот Аптекарского тишь.
Разве в детской этой бедственности
немоты меня заметишь?
Нет меня на местности.
Нет. Но чем верней молчишь
в той насквозь естественности,
в неосуществимости
слов, тем ярче светишь.

II

1

Только зрение и слух,
их деревья эти вынянчили,
а теперь, вернувшись в гулах,
жизнь переназначили.
Носится ли белый пух,
шубка греет заячья ли
в тех краях, где начали,
в стьлых переулках.

2

Где ключи? Ищи-свищи.
Возведи слова обыденные
и явлений смысл не вещей
в жаркое радение
отыскать с В. Х. ключи,
чтобы «ясновидение
нервов» на мгновение
высветило вещи.

3

Вновь декабрь. С другой зайду
стороны, но в ту же стиснутую
льдами реку и раздую
в памяти лоскутную

ночь, ожившую во льду,
как шампанским вспрыснутую.
Дай шнурки распутаю,
погоди, разую...

4

Праздничный отец вдали,
в кухне, быстро приближающейся, —
сколько нам счастливой дали
жизни, там живущейся? —
магазинные кули,
щёлк картошки жарящейся
да снежок, чуть выющийся
в законной зале.

5

В зеркале смеётся мать,
тонкие звенят серебряные
на руках браслеты, скатерть —
всплеском — самобранная.
Чтобы в фокус всё собрать —
рюмки равнобедренные,
в них вино багряное, —
надо жизнь потратить.

6

Пахнет хвоей. Это дни
ёлки, в мишуре запутавшейся.
Волхв на выпуклом картоне,
за звездой пустившийся
в даль. Бенгальские огни
в сне твоём закутавшемся
да снежок, сгустившийся
на оконном фоне.

7

Тишина. Горит ночник.
Булочная снится, бубличная.
По дворам бубнит утильщик,
борода всклокочена.
День измаявшийся сник.
Праздничное в будничное
утекает. Уличный,
точит нож точильщик.

8

Так точильные круги
времени искрят неистовые,
тёплые скудеют краски
дома, благоденствия,

так, разбившись на куски,
детское дионисийство
поручает действие
трагической маске.

9

Так в Истории следы
исчезают человеческие, —
рописью на вазе беды
с торжествами венчаны,
а младенчества сады —
те же древнегреческие
мифы, безупречные
в истинности бреды.

10

Плачущий стоит отец,
в коридорной нише высвеченный.
Как в воронку, инородец,
полусна заверченный.
Полусклад-полудворец
памяти чистосердечной, —
звёздной метой меченный,
потайной колодец.

11

Мать усталая сидит
у окна, неузнаваемая,
смотрит, но меня не видит,
тем же сном изваяна.
Совесть ли, вина саднит,
не сбылось ли чаемое, —
не раскроешь тайное,
ничего не выйдет.

12

В этом сне, где снег гурьбой
за окном, в неиссякаемости
ночи, в зыбкости озноба,
в этой странной ёмкости
сна всё зиждется собой,
в полудосагаемости,
но и в гнутой ясности,
в кривизне особой.

III

1

Белый холод. Снег слепящ.
Полночь на безлюдной набережной.
За рекою остров спящий.
Тишина нездешняя.
Как орган, блестит, звенящ,
воздух. В небе набожная
спутница утешная.
Ветер леденящий.

2

Мимо лодочной пустой
станции, ангара мертвенного, —
согреваясь речью устной
в городе неверного
света, чёрной мостовой,
сада многоветвенного,
сердцу соразмерного, —
по тропинке узкой.

3

Каменноостровский луч.
Это крепость Петропавловская.
Над землёю ходят тучи.
Над землёю плоскою
вздыблен чёрный конь, могуч.
Та рука неласковая,
жёстким жестом броская, —
к смерти неминучей.

4

Здесь мерцал когда-то день,
меркнул день декабрьский, сумеречный,
снег лежал комками, рдея,
дымной кровью смоченный.
По Галерной чья-то тень...
Вдруг весна — и «Рюмочная»,
май очеловеченный,
шалая затея.

5

Залетейский брат мой, пир,
дым столбом, и муза взвизгивает,
мимолётная квартира,
где посуда звякает.

Музы пламенный кумир
новый стих изыскивает,
что-то в рифму вякает,
под рукою лира.

6

Под рукою пунш и ром,
мы и званые и избранные.
Не мудри, оставим мудрым
истины их пряные.
Песнопеньем славен дом.
Ничего, что выпрениие,
ничего, что пьяные,
протрезвеем утром.

7

Тихий голос: «Научу.
Видишь, люди живы завистями,
предаваясь злomu плачу?
Нет, не их ты навести,
ангел мой, — зажги свечу
там, где нет ни вычурности,
ни презренной юркости
мысли: “Что-то значу”».

8

Кто всё это говорил?
Запиши, а то ведь, выпившие,
не запомним... Миг — и в хоре
дети, нас забывшие...
Чижик-пыжик, кривокрыл,
где почил ты, пыжившийся?..
С лёту вздор убившее,
вгрызается горе.

9

Брат дошёл до края мест
обжитых, где человеческое
обрывалось. Ясность жеста,
взгляда: вот отечество.
Дальше сам несу свой крест.
Прочь, слеза изменческая.
Ни сомненья — начисто, —
ни живого места.

10

Точка. Брошено жильё.
Над жильём страна заоблачная,
дельтой спят в запястье жилы.
Море обесточено.
Тела мёртвого враньё
в узкое и лодочное
втиснуто, — и кончено.
Мерзлота могилы.

11

Пустота меня язвит.
Не вчера душа изнеженная,
брата потеряв из виду,
стала безутешная.
Я ль не исходил, убит,
зёмли, тьмой завешенные,
мною ль не затвержено:
где ты, друг Энкиду?

Иссякает жизнь, и страсть —
словно в ватных лапах обморока;
то, что в радости ль, в несчастье
жило, — стало облаком.
Невесома снега взвесь,
ни шажка, ни шороха там,
вижу всё, что дорого,
только нет меня здесь.

Аркадия

1. ПРОЛОГ

Случилось — заплутал.
Лес ветви заплетал
и корни дыбил.
Страх душу выпил.

Зря (голос чувств умолк)
пантера, лев и волк —
втроём, поврозь ли —
кружили возле.

Ничем не соблазнён,
я был — ни явь, ни сон —
и слеп и слаб, но,
сверкнув внезапно,

ночь повернула ключ —
звезды зажётся луч,
и, в строки вжатый,
возник вожатый.

2. РАССВЕТ

Небесные края
возделаны стремглав,
когда рассвет, поя
и вспаивая, прав.

Белеет парус, о!
Смочила кисть заря —
таможенник Руссо
ведёт учёт зверья.

И остро — уголь и уголь —
зелёный взгляд в упор
являет жала джунгль
и норов хищных нор.

А рядом рыбаблей
вся в водорослях снасть —
святое всех зверей.
И отдыхает страсть.

3. ПИР

Источник чистый,
и все заботы —
хлеб золотистый,
сыры и соты.

День беспорочный.
Чтоб жизнь не гасла —
алтарь цветочный,
в сосудах масло.

Вино в кувшинах.
Разубран стол наш.
Разборчив в винах,
свой килик наполнишь.

Олив цветенье,
огонь, отвага,
к богам почтенье, —
всё наше благо!

4. ЖИРАФ

Бесшумно, в тапочках ли бархатных,
из сонных грёз воспряв,
он выкроен из клеток шахматных,
рогатый граф.

Он долго пьёт, в поклоне свесившись
над лужицей простой,
а после, ломко в небо ввысившись,
стоит. О, стой,

как изваяние балетное,
под синевой творись!
Идея шеи абсолютная
простёрлась ввысь.

Нога танцовщика, стоящего
на четырёх руках
и тапочкой листву жующего, —
ты есть жираф.

5. ФЛЕЙТА МАРСИЯ

Врачевать — не дурачить,
повседневный язык
песнопеньем иначе
и лопатить, впритык

к темноте чернозёма
лопоча, лепеча,
добывая озона
чистоту, горяча

кровь, — от браги косяя,
в кривизне своей мудр,
Марсий, весь я в росе я
нарастающих утр,

из небесной аптечки
вылетают вослед
пенью Марсия птички
переливчатых флейт.

6. ВРАЗУМЛЕНИЕ ЮНОШИ

Пей, но в меру пей, не хлюпай
без конца, иль поздно я начал
наставлять тебя, отрок глупый?
Кто тебя нянчил?

Только не смеди богами
с плотскими телами, ей-богу.
Если пьян, иди лучше к маме.
Помнишь дорогу?

Не гордиться ей сыночком,
что такой стыд и срам слюнявит.
Ты прикрой голову листочком
фиговым — на вот!

Или не ленись — работай
мозгами, чтоб не льнуть к заразе:
человекоподобный бог твой —
верх безобразья.

7. ВДВОЁМ

падает яблоко
следом поодаль
яблоко падает
ночь непогода ль

светится зелено
медленно гаснет
зелено светится
ночь ли ненастит
обняты спрятаны
спят они спят они
спрятаны обняты
первые опыты
там холоднее чем
в доме ничейном
чем холоднее там
тем горячей нам

8. БЕГЕМОТ

Горою вплюхнутость сама
в родную жижу,
я весь — не твоего ума,
и Бога вижу
хребтом, клыками, животом,
розово-смурой,
сине-зелёной и притом
стальнойю шкурой.

Полдненным высвечен лучом
в Господнем доме,
я верх путей Его, о чём
не знаю в дрёме,

разлапый корифей рытъя
в грязи разливов,
гигант библейского литъя,
ревущий: «Иов!»

9. НА КУРОРТЕ

Сначала полунастоящий
и путающийся в плюще,
потом лепечуще летящий,
лепечуще, щебечуще...

Пока Швея, склонясь к лиману,
выводит солнечную вязь,
он принимает жизнь как ванну,
в шезлонге полуразвалясь.

Он смачно яблоко вкушает
и Еву потчует свою,
и змей парит, не искушает,
запущенный в его раю.

С брелком на загорелой шее
сидит, покорное Швее,
бездельничающее щее,
блаженствующее щее.

10. АНАКРЕОНТ

Не крикливым выскочкой —
явлен мне поэт
с виноградной кисточкой,
источая свет.

Машет ему лапочкой
над жилищем дым,
и ныряет ласточкой
ласточка над ним.

Воздух человеческий,
что ни шаг, то вдох,
лирик древнегреческий,
босоногий бог.

Виноградной косточкой
ты не поперхнись —
прогуляйся с тросточкой
и домой вернись.

11. ЧЕРЕПАХА

По-юношески, вплавь, изящно —
змея под панцирем-щитом,
вся — выпад зрения разящий,
с прорезанным улыбкой ртом, —

из глуби вод, по восходящей,
из водорослей, проблистав,
выносишься — и зной палящий
объемлет жарко твой состав.

Смотрю, уже единокровен
медлительности, и сполна,
с лихвой мой взгляд к тебе прикован,
когда на троне валуна

меж двух скорлуп ты вроде сердца
ореха грецкого, с лицом
усталым царственного старца,
отягощённого венцом.

12. НА РАВНИНЕ РАЯ

Росой облюбованный луг.
Как с плеч долой ночь...
К вожатому, оглядываясь вокруг,
я обратил свою речь:

«Не сбиться бы, братец, с пути,
ведь разум мой спит
в необоримой беспечности.
Не грохнуть бы с копыт,

попав на такую стезю!»
И только что вскок
приплясывавший или всюю
смеявшийся, он изрёк:

«Рай ровен. Куда ни ступи,
ни глянь — всюду рань
ранёхонькая. Росой кропи
счастливую глухомань».

13. С ФРАНЦИСКОМ

Пока передо мною слава
земли: огни костров пастушьих,
или вулканов не погасших
базальтовая лава,

или ресничное свеченье —
ребяческие лица в хоре —
росы, и братство плоскогорий,
и рек-сестёр реченье, —

пока стрекочет сердце строчки, —
флотилия гусей летящих,
мальков ли филигрань в слепящих
лучах, — я с этой точки,

пока не досмотрю, не сдвинусь, —
парад деревьев воронёных,
и небо звёзд неосквернённых,
и всех цветов невинность.

14. ЖОНГЛЁР ПЕРЕД МАРИЕЙ С МЛАДЕНЦЕМ

Подбросить апельсин
в небесну синь,
за ним седьмой, а следом третий,
мозг жизни дольчатый,
кометы рыжих междометий,
ты их невольник, ты невольчатый
любви, — подбросить и ловить,
и ломтик ласки улучшить.

Подбросить апельсин
в небесну синь,
за ним шестой, а следом пятый,
явь непочатая,
младенец вмиг розовопятый
разулыбался, в небо падая
из материнских лёгких рук,
святого безрассудства друг.

15. ЛЮБОВЬ

Пока эти двое идут,
не помня зачем и куда,
взят первый редут
и дрогнули невода.

Пока воздух светел и пуст,
поодаль, не видящий их
в истерике куст
забился и стих.

Кто жизнь так усердно творит?
Стемнеет снаружи — смотри,
как свет озарит
раковину изнутри.

И будет стоять бастион,
под стрелами молний, в дожде, —
святой Себастьян! —
неведомо где.

16. ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Всё, что есть на «л»: луч, любовь ли,
лилия ли, лань лесная, —
всё подобно сладостной ловле.
О, лови меня, оттесняя

к той ложбине... А эта стая
вздохов ли, облаков ли
надо мной! Надо мною будь, нарастая,
жарче крови и крепче кровли.

Обними меня! Кедр ливанский
несоизмерим с тобою —
так силён ты. Твоею лаской
не насытиться. Пусть тропею
зверь крадётся, готовясь к бою,
перед самой оглаской, —
твой язык... А теперь огласи трубою
плотский пир с беспощадной пляской.

17. ТВОРЧЕСТВО

Решимость, равная нелепости —
исчезнуть, чтоб явиться миром:
луна, вращает пальма лопасти
под ветром, точно это мельница,
поэт бежит Гвадалквивиром,
пёс метит местность, лучник метится,
летят стрижи, дымятся пропасти, —
виждь, это даром.

Леса, как воины и крепости,
стоят под громовым ударом,
стать львом в оскаленной свирепости,
мечтой, что мается и мечется,
счастливым сном, ночным кошмаром,
в конце концов вочеловечиться, —
зачем? Теперь шагни без робости
и стань простором.

18. ИЕФФАЙ

За ним — ещё он молод! — шлейф побед,
и зависть-жало,
и слава... Женский силуэт
мелькнул — он вздрогнул, пробежала
предчувствием дурная дрожь.

Безумный выдох Иеффая:
— Ты кто такая?
— Я дочь твоя, отец, не узнаёшь?

Секунда пепла.
Где всё, что в нём, как в горне, крепло?
Задохся в горле клочковатый крик.
Она увидела: стоит старик.
Гром, остановленный на пепелище,
в грязи и глине.
Безродный нищий.
Святой? Отца в нём не было в помине.

19. БЕССМЕРТИЕ

Вот он выныривает из-
за поворота,
как бы на бис
из-за кулис, —
на лбу накрапом бисер пота, —
он смотрит ввысь —
ликуй: есть пятница, суббота
и воскресенье. Горе, брысь!

Бегут по небу облака
в начале мая,
свежа река,
и жизнь легка,
и это папа мой, — взлетая,
горит строка! —
навстречу — мама молодая.
Они бессмертные пока.

20. НАЧАЛО

есть бронза брызг
в лазурь ларца
слизь заперта
глазастый щуп
приплюснут писк
субстрат творца
есть тёрка рта
радулозуб

кальцит и плеск
мол мел лузги
есть узкий свет
который узк
есть мель и блеск
зажат в тиски
двух стен и след
и слизь моллюск

21. БУДДИЙСКИЙ МОТИВ

Сказал бы ты: «Вот, на свете я
в гнездо многожильное свился», —
когда б из неведенья
себя самого не явился?

И если так тебя начали
(без спроса и вдвинули в разум),
то значит ли, значит ли,
что *есть* ты и *нет* тебя разом?

Чуть найденный на скрещении
сознаний, в пелёнках орущий,
ты и прекращение
себя в уникальности сущей.

Столь явленная исчерпанность —
не лишь моментальность живая,
но и предначертанность
твоя и свершённая без края.

22. ДАВИД СЛАВИТ

Эта твердь,
небо ночей и дней, —
проповедь,
проповедь славы Твоей.

Этот день
речью впадает в день,
а ночная сень —
тишиною — в ночную сень.

Солнцу знак
подал — и в небесах Твоих
оно засияло, как
в брачных чертогах жених.

Свет лучист.
Звёздам нет числа.
Страх Твой чист.
Заповедь Твоя светла.

23. ВОЗНИКНОВЕНИЕ

— Ты кто? — Я мысль. — Куда ты? — Я к тебе. —
Вот уж не звал. — А я из приходящих
без спроса: при еде или ходьбе.
Или во сне. Подобно голытьбе,
непрощеная, — я не для хотящих.

— О чём ты? Почерк твой не разберу... —
Я ни о чём. Я есть возникновение.
Так шёлковый внезапно на ветру
плеснёт флажок на утреннем смотру.
Запомни. — Что? — Прекрасное забвенье.

— А незабвенное забыть? — Забудь. —
Откуда ты? — Я не рождалась. — Если
ты не рождалась, не к чему прильнуть. —
Ты видишь книгу? В ней сокрыта суть.
Читай вот здесь. — Постой, придвину кресло...

Ты где? — Исчезла.

24. МЕТАМОРФОЗЫ

Всё, что бесследно
в сети уловлено,
истинно свет, но
не обусловлено.
Не протяжённость,
не притяжение,
ни отражённость,
ни отторжение.
Сна не избегли,
яви, всё — невидаль:
таянье, снег ли,
облако ль, дерево ль.

Молний и лилий,
раннего моря ли
свет не продлили
и не оспорили.

25. НА ПОВОДКЕ

Остальное время
гулять с собакой,
глядя, как, ослепительно рея,
летят облака.

Поводок — только повод,
чтоб увидеть в строке,
кто на чьём поводке.
Остановлен ли, крутится ворот?

Так не видит различий
между небом и небом взгляд птичий,
день за днём
пролетающий тем же путём.

На осколок блюда
засмотреться в ручье
и забыть, как вернуться
и зачем.

26. РОСПИСЬ НА ВАЗЕ

Когда вращаются колёса
океанических глубин
и над поверхностью белёсой
слетает с обода дельфин,
за ним другой — как за иглою
игла, скользя, сшивая две
стихии выгнутой игрою,
с летучей рифмою в родстве, —
я вижу берега Коринфа
с накатом лёгких пенных волн,
где за изменчивою рифмой
поэт, беспечной веры полн,
охотится, — свежо и рано,
дельфины мчат на всех парах,
и за спасенье Ариона
я их спасу в своих стихах.

27. КАДР С ПОВТОРОМ

Ниоткуда подует, и двор
покачнётся, и резко
в распахнувшийся створ
выбросится занавеска.
Тут как тут шелкопряд
туговой, и сквозь ветки
вдруг просыплется град,
застучав по беседке.

Среди ясного неба
град в июне! Замру
и секундную стрелку
умолю, узаконив игру,
повторить... Ветер, двор,
и тряпица проворно
в распахнувшийся створ
выбросится повторно.

28. РИФЕЙ

Ядовитоязычные змеи обвили шеи
всех троих (по числу «петель» в «Лаокооне»)
Нежной ночью отряд отборный
из утробы дубовой вылез, и дрогнул город.

Предо мною, как на ладони Вергилия,
запылавший Пергам предстал, где скворечник
сердцевитая птица облюбовала.
Но горел Приамов дом, и она задохнулась.

Если бы не юный Рифей прекрасный,
в одиночку вышедший на данайцев,
чем бы мы пустынные наши палаты
оправдали и череду чертогов, от гари чёрных?

Всё списали бы на богов беспощадных
и обитель Орка, которой обречены живые.
Но каков Рифей, не сказавший: гибнуть,
ничего великого не свершив, не время?

29. СЛОН

Почтальон пыли.
В почтовых сумках
ушей — поле
сражения. В сутках

топота — опыт
слонянья. Трубный
воздет хобот.
Столетия крупный

валун. Ганнибал.
Гималаи. Сон.
Сна сеновал.
Если же вознесён

рассвет и льётся
на слоистый склон
с небес слонце,
просыпается слон.

30. В ШВЕДСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Розы, выросшие на камнях,
остров роз,
запах спящего дерева в церквях,
детский Христос,
созданный не Отцом,
а плотником, Его отцом.

Шёлк бабочек, шёлк, шёлк,
знающий в лепетанье толк.
На щеках прихожан
отсвет земляничных полян.

Там, где к ночи густеет замес
волн морских
и, под стать им, мускулистых небес,
голос не стих
твой и взгляд не исчез, —
нет исчезновенья чудес.

31. ГОЛЬФИСТКА

Гольфистка в замахе (сострим
прицельно, сиречь:
под гульфиком хочет гольфстрим
наружу истечь) —

гольфистка-юница стоит, —
а юбочка столь
на ней коротка, что теснит
подъятая боль, —

и вот из строфы глянул граф —
он ей гибеллин, —
и катится шарик меж трав
одной из долин, —

и где-то поёт гондольер
и правит свой путь
вдоль шельфов и солнечных шхер.
О лунка, ты суть!

32. ДАВИД БЛАГОДАРИТ

Блажен, кому отпущены грехи,
кто Господу что новые мехи.

Дух взаперти пытал меня как гость
из преисподней, сохли кровь и кость.

Так тяжела была рука Твоя,
что я открылся, грех свой не тая,

до глубины, и Ты, склонив Твой слух
ко мне, освободил скорбящий дух

для радости. Пусть праведник творит
молитву и Тебя благодарит.

«Я вразумлю тебя — в Моих руках
твой путь, не попирай себя как прах.

Не будь как необузданный лошак,
чтобы уздой Я сдерживал твой шаг».

Путь нечестивого — греховный тлен.
Ты ж, праведник, пой Господа, блажен.

33. АПРЕЛЬ

Исчезновенья чистый отдых.
Пока глядишь куда-нибудь,
трамвай, аквариум в Господних
руках, подрагивает чуть.

Есть уголки преодолений,
где можно преклонить главу,
и солнца крапчато-олений
узор, упавший на траву,

и есть под шапкой-невидимкой
куста прозрачная весна,
внезапно розовою дымкой
осуществившаяся вся.

Апрельский замысел так тонок,
что крошечных двух черепах
смеющихся везёт ребёнок
с аквариумом на руках.

БИО

Автобиография, если она кем-то востребована, предполагает значительность: я родился и кем-то стал... — но если её начать единственно точными словами: «Я родился за несколько десятков лет до своей смерти...», — то понятно, почему нет никакой возможности кем-то быть. Не остаётся времени: ни на хотение нарядиться в инженера, например, или в поэта, ни на пребывание в наряженном виде: кто-то.

Настоящая биография — это история не пребываний, но отсутствий, главное из которых: безусловно истинное отсутствие (БИО), — впереди. БИО обсуждению не поддаётся, но из прикосновений к нему и сопутствующих состояний складывается биография.

Эти состояния — вспышки, которые освещают всё, что рядом: остальную жизнь. Они — обрывы сердца, огромные обвалы неумения, безыскусного и безысходного сиюминутного горя, но в будущем воспоминании, возможно, *счастливого* горя. «Время — это движение горя».

Мы находимся в обратном натяжении к небытию. И чем преданней, тем чище. Чистота пребывания — это результат вычитания центростремительного вектора из центробежного, вектора к небытию из вектора к жизни, и чем меньше разность, тем точнее результат. В обычном случае результатом взаимодействия двух сил — вовнутрь и вовне — является криволинейное движение.

**(12 ноября 1948 года — 1964 год. Ленинград.
Родители: Аркадий Мануилович Гандельман
и Рива Давыдовна Гайцхоки. Старшие сёстры:
Инна и Роза. Детский сад — школа)**

Болезнь в младенчестве — первое пробуждение этого обратного натяжения. Тебя не отпускают в жизнь. Но тем самым и побуждают к ней. Ты лежишь и, глядя в потолок, видишь точку пустоты. Вот головокружительный опыт. Может ли такое быть: точка пустоты? Может, и это очень большая тоска. Похоже на вертящуюся пластинку: серое вращение плоскости с точкой в центре. Беспричинный страх, как всё беспричинное, свидетельство подлинное. Без примеси психологии и всего разумного. И эту пластинку заест: одна и та же музыкальная фраза будет возвращаться всю жизнь.

Другое состояние — любовь. Ты как средоточие любви. Покоящийся словно бы в колыбели родительского взгляда. В люльках глаз. И любовь к родителям. Вернее сказать, любовь, «предметом» которой стали родители. Как первые попавшиеся на пути от БИО-1 (до-бытие) к БИО-2 (после-бытие)... Все эти долгие объяснения оттого, что речь скорее всего идёт не о состоянии людей, а о свойстве пространства жизни, ими затепленного и хранимого.

Мать поёт колыбельную «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни...», или сидит за швейной машинкой «Зингер» и слянявит нитку, или входит отец со сбритой полосой на обмыленной щеке — очень необыкновенно. Всё, что предъясняется, предъясняется когда-то впервые, и родители создают любовную повторяемость событий, тем самым невольно оберегая нас от непрерывно и непривычно яркой новости. Но яркость прорывается, поэтому ребёнок так часто плачет. Режет глаза. Из этого непреднамеренного горя вырастает неотступное ожидание родителей, их прихода домой с работы. И страх, что не придут. Что умрут. Страх и жалость.

Как возникает понимание БИО? Когда? Из этих ожиданий? БИО как невозвращение никогда домой?

В первом классе умирает мальчик: он сидел на первой парте, фамилия Симаков, — потом ты слышишь, что умер от желтухи. Это значит, что он никогда в класс не войдёт и на своё место не сядет, а ты не увидишь его стриженный затылок и уши поперечным торчком. Просто исчезновение. Фокус переселения Симакова в твою память, которая через пятьдесят лет его легко воскрешает, потому что никогда не забывала.

Другой, тоже главный вопрос: когда ребёнок видит себя в зеркале, впервые понимая, что это он? Взгляд на себя со стороны и возникновение образа себя. С этой точки могло бы начинаться изгнание из детского рая, но не помню и не встречал никого, кто бы помнил.

БИО выстукивает свой ритм, всё более сложный. От безразличного тебе исчезновения (его навсегда-запечатлённость происходит от нового, не известного до сего момента сбоя заведённого порядка: не войдёт и на своё место не сядет...) — к очень не безразличному, потому что в пятом классе умрёт девочка, в которую ты влюблён. А двенадцатилетний человек уже знает, что в таких случаях следует переживать, даже страдать, хотя для страдания у него ещё нет взрослого эгоизма. Он будет пытаться присвоить это БИО себе, чтобы из подражания старшим стать значительней. Вектор жизни побеждает, устремляясь на ложные пути.

И дальше, и дальше, всё сложнее, но с неизменной победой вектора жизни.

Пьер «не видит» смерти Каратаева... — это спасительная сила «перемещения внимания» и уклонение в сторону выживания. (Правда, по воле Толстого, в случае Пьера — это совсем не ложный путь, наоборот: обретение Бога, Который везде... Думаю, что у Толстого иногда получалось не то, что он хотел...)

Расширение географии обитания забрасывает ребёнка в «чужое». На мгновение, на два, на всё дольше и дальше от

дома. Это вроде захода в море: ополаскиваясь, постепенно привыкая к воде, опасно окунаясь... — прежде чем осваиваешься и плывёшь. Первая попытка провальна: слишком изнеженный и заласканный ребёнок сбегает домой из детского сада в первый же день, во время прогулки, — благо детский сад в соседней парадной. Но послеобеденный «мёртвый час» на казённой постели, запах кухни и линолеума навсегда отбивают охоту (которой, впрочем, и не было) к подобным приключениям. Раннее утро следующего дня отстаивает в слезах своё право на неприкосновенность и сон.

Школа — решающий «заброс», из которого не выбраться. Учительница пишет жалобу-записку (о плохом поведении ребёнка) и просит передать родителям. Семилетний сын не знает, что должен вернуть этот документ с подписью, он ещё не умеет читать «по-письменному», и рвёт бумажку на мелкие клочки за гаражами. Назавтра он поднят за партой и уличён во лжи: где записка? Это абсолютно космическое событие: ты сгораешь дотла, по ходу дела прикасаясь крылом к БИО.

И следом — множество подобных событий, благодаря униженной изворотливости — всё менее космических, всё более приземлённых.

На другой чаше весов — дом, а значит, любовь и совершенство. Все праздники, все каникулы, все выходные.

**(1964—1975. Ленинград. Друзья: Лев Айзенштат
(лит. псевдоним Лев Дановский) и Валерий Черешня.
Сын Артём (1971). Школа — электротехнический вуз —
конструкторское бюро)**

Исключительность существования сдаётся на милость посредственности.

Социальный инстинкт самосохранения. Повиновение, преодолевающее отвращение к учёбе-работе из жалости к родителям, из трусости быть не как все и от общей незрелости существа. Энергия, которой нечего сказать, и тщеславие, которое нечем утолить. По выражению Толстого: «путаница требований жизни».

Если бы ноль мог ощутить свою пустоту и ужаснуться, то я бы назвал повторяющееся состояние этого времени сквозным ужасом нуля (всё, что умеет этот ужас, — поменять в слове «ноль» «0» на «у»). Что-то выдувает душу внутрь себя и — на холостом ходу — вон из жизни.

На чердаке завода, где проходит производственная практика школьников, мастер рассказывает о допусках и посадках. Тёмное зимнее ленинградское утро. И в этом сонном, пахнущем металлом цианистом царстве звучат, например, слова: «Завод выполняет план...». Что это значит?

Человек может вынести всё, кроме осознания бессмысленности своей жизни. В худшем и наиболее частом случае ему необходим успех, то есть ощущение своего превосходства над другими: нравственного или материального, не важно. Как подтверждение осмысленности. В лучшем случае ему необходимо переживание внутреннего роста, он должен время от времени восклицать: «Я всё понял!» или «Что-то мне открылось!» — без претензий на внешнее проявление своего совершенства, но зато, быть может, с ещё большей гордыней.

И первый и второй — случаи «игровые», не настоящие. Оба имеют в виду победоносную содержательность, которая, находясь во встречном движении к бессмыслице, противопоставляет себя ей, в то время как тонущий человек, спасаясь и обретая под ногами дно, движется именно ко дну. Вообще

осознание бессмысленности должно стать настолько глубоким, чтобы перестать быть «осознанием». Если бы жизнь была тем, что человек о ней думает, она была бы невозможна. Жизнь живётся, а с окончательно разумной точки зрения — незачем ей житься. Стоит заодно добавить, что и поэзия — опровержение тщеты, потому что идёт против предвечных законов природы: против энтропии. Потому жизнь (и поэзия, в частности) — акт веры.

Один художник после многих лет работы сказал: «Наконец-то я разучился рисовать». Другой написал о том, как он рисует дерево: не только с натуры и на холсте, но и в воображении. Дерево продолжает в нём свою работу всегда.

Первый в одном предложении поведал о своём рождении: он лишился «образа себя», чтобы стать собой. Второй сказал о том, что возобновление состояния «быть собой» никогда не прекращается. Это не игра: написал — забыл...

И дело не в стихах-живописи, можно ничего «рукотворного» не создавать, — дело в творчестве жизни — не для обретения тяжёлых и неподвижных строительных смыслов, но для спасения внутреннего человека — «...и тогда такой человек восхищен и находится без сознания, ибо его цель — безумный и всё же имеющий смысл или образ, или, другими словами, — нечто разумное без образа» (Экхарт). Короче говоря: «Как будто я повис на собственных ресницах...»

Попытки понимания этих вещей совпали с уходом из конструкторского бюро в угольную котельную на наб. Мартынова, 36.

«Посвящение», приведённое ниже и написанное в 1975 году, надо понимать как инициацию: посвящение во что-то (а не кому-то). В нём вторично обретается (или заново рождается) то, чему случилось быть главными точками биографии. Оно

длится по сей день, и это моя глава в книге, которая называется «В поисках утраченного времени».

(1975 — to the present. Ленинград, с 90-х — Нью-Йорк и Санкт-Петербург. Жена Алла, дочь Мария (1978). Кочегарка, позже — среди прочего — преподавание русского языка. Смерти: отец (1991), мать (1998), Лев Дановский (2004))

Посвящение

Сон о пластинке, пастила, душа плаксива, осипла, полночь у стола её скосила.

Сон о пластинке по челу. Болезнь желанна. На чердаки свои лечу, в свои чуланы.

Там абажур, истлевший в прах, и лампа-филин, и чахнет детский хлам в чехлах, и я всесилен.

Часы, туманность Андромеды, слова, как мозг, воспалены, компрессы снега, нега, сны, ангина, привкус мёда.

Рука папы просунута под одеяло — мгновенная прохлада, тут же обнятая жаром.

Она давняя, знаю её очень давно.

Вертишься около, вокруг руки, пятка достигает холодноватой воли.

Рука, как прилипший кленовый лист, распластана между ключицами.

Устал, щурюсь на малиновое, теперь без движения, только играю с малиновым, щурясь.

Тело расслаблено, и я успокаиваюсь, и, снегом засыпаемый, тихо засыпаю, паинька, паинька, баюшки-баю...

Но уже с настоящим снегом.

Рука мамы не такая тёплая, потому что на улице.

Она бела, пахнет глицерином, молода.

Знаю, что меня ждёт. Урок музыки и — после.

И вот ступаешь по снегу, держась за руку.

Ступая, наслаждаешься податливостью его, под ногой он не рассыпается, а упруго уступает. Коротко мурлычет. Он обязательно идёт, снег, и — вечером.

Всё это происходит в пятницу, и не идёт, а с неба пятится.

Снежинки — воздушные гимнасты, захлестнуты ритмом улицы и, свиваясь, взмывают вверх.

За одной из них слежу и загадываю, что успею доследить её падение, успею, не замедляя шага, и если успею, то что-то случится, а что — не придумать.

Она резко оставляет меня слева, оглядываюсь и так иду, хватаясь за руку всё сильнее. И пока фон стены тёмн, всё со мной и со мной, и вдруг тонет в белом рукоплескании витрины.

Теперь вдоль железной ограды, за которой сад.

Он в редком огне.

Ограда, ограда, пытаюсь свободной рукой вести по каждому пруту, но рука отстает, мёрзнет. В карман.

И тут — стена, сплошная стена дома, ни окна, и её расщепляет, как трещина, дерево.

Скоро уже, скоро.

Волнуясь, ты передаёшь руке, которую сжал, всю тревогу.

Уже пахнет кислыми кошками и серые под ногами пятна. Серые с белым.

Теперь два шага, три — ровных, и в затылок сбегаются мурашки с предплечий и со спины.

Тёмные, красные, полированные, красные, тёмные пятна.

Под подбородком щекотный шнурок.

Невыводимый запах нафталина.

Белый слон, белый слон, он напрасен, белый слон.

Белый слон расплывается, и мёртвая танцовщица поплыла вместе с полкой.

И ты подступаешь к чёрному роялю, и —

не выплакаться, и не успокоиться, до самой своей улицы, до запаха бубликов с маком, только выпеченных, на снегу запаха...

Весной — объятный воздух.

Вдох и взмах.

Весной, в тщательном матросском костюмчике, отмытый, в белых гольфах.

Весной, в мае, в ожидании лакомой прогулки.

Весной дышишь так, что жизнь нескончаема, — столь светло и в таком начале она.

Весной, в саду, тёплом от запаха верб, в трепетном саду.

В тебе, как в стеклянном колодце, колеблется синева неба, и грудь дрожит, как мембрана.

И вот ты выступаешь под окнами, за которыми начинается воскресная кухонная возня.

По кромке тротуара. Независимо. Чтоб никто не догадался. Искося.

И совсем уж искося — вниз: не наступая на стыки поребрика.

Из глубины гостиной пыль была как золото распила, плыло пространство, тихо было, мультипликационно пил ленивый

кот-домохоозяин, и, обалдев, под потолком зудела муха, и в таком

млении были стрекозиные стрелки ходиков — крылья мельницы, разморённые зноем.

Запах щей. Щи в обмороке.

Был день похож на решето, в муке и фартуке прислуги, ни то, ни это, ни про что, на тонком уровне разлуки.

Дрожал на кухне блёклый куб, дышали жабры, коридора темнел в дверях тяжёлый круп, перебирала бусы ссора.

Не зная, чем себя занять, дыханье высилось и никло, и сквозь рассеянность в глаза текли какие-нибудь иглы.

Варилось в собственном соку весь день неясное волнение, как будто тень без утоленья тянуло время по песку.

Послешкольные в чернильных пятнах руки.

Летний и скучный день похож на жаркую зевоту собаки. Полдень.

Чуть позже приедет поливочная машина, и я побегу перед ней, немного радуясь.

Она расчешет, выпустив прозрачные когти, свалывшуюся траву и уедет.

А я останусь.

Останусь я, сорву шиповник.

Просыпая белые зёрнышки его, двинусь в путь долгий и утомимый.

Ни мысли в нём, и в жёлтой слепоте, венки из одуванчиков сплетая, в саду сонливый ангелом плутая, как отраженье в мраморной плите.

К босым ступням просёлочной дороги прилив, прилавок
груш, неизреченность как будто свежескошенной реки.

Ни осады осиною, спят шмели в джемперах, и дрожит над
росинкой летних сумерек прах.

Мир так тих и просторен, что в его тишине слышно мако-
вых зёрен созреваниe во сне.

Щёлкнут ставни затвором, и окно, отворясь, задохнётся
простором —

и проникнет, как будто просветлясь на лету, утончённое
утро в июньском цвете,

и ещё не обнимет, но, скользнув по лицу, как капустаница,
снимет с век дрожащих пылью.

И вот прилив песка к босым ступням, как если бы пролил-
ся шёлк из складок ночной земли, жасмин, прохладно-сладок,
то шевельнётся здесь листвою, то там. Вдоль полотна, вся
в блёстках слюдяных, дорога, и лапта босого солнца, и день,
разгораясь, уже несётся, и вдруг — река из лилий ледяных.

А в полдень тины сонный серпантин, мостки, полузато-
пленные ленью, и ход реки по-щучьему веленью так неприме-
тен и необратим.

Под вечер стада хмурое упорство, разматывают головы коро-
вы вдоль улочки из ревеня и рёва и еле разбредаются. Всё просто.

Расслабленный, ссылающийся словно на завтра — молока
парного запах, округлый и сплошной, на тёплых лапах, и плав-
но оседающий на брёвна.

Не торопиться. К шапочным разборам не поздно никогда. Не
торопиться. Пока весь мир един и не дробится и миг не разво-
рован разговором.

Дверь нашарь за Черниговом, спичкой чиркни, там начнётся твоё посвящение, где вокзальный плеврит, кочегары черны, вороватая глушь и свеченье

белотельх, теряющих контуры хат, где летучие ветхие мыши на рассвете крушение крыл обратят в паутину под крышей,

дверь нашарь за далёким дыханьем степей, в этой чёрной норе разгребая жар золы, этот воздух, который темней с каждым часом, где, перебивая

тяжкий ритм шатуна, — белострочье реки — отголоском любви и свободы — среди груды горячих углей, кочерги, привокзальной тоски небосвода,

отвори эту дверь, ты за ней родился, будь так добр или нежен, не знаю, что-то сделай, не знаю, так больше нельзя, говори, говори.

1975

P. S.

Детство — это платоновские идеи, — суть вещей в их чистоте, — к этой сути мы возвращаемся, встречаясь с вещами в их «грязном» виде в своей взрослости.

И если у нас есть совесть, то взрослая жизнь, понимаемая как успех, удаваться не может. Потому что отвлечься от подлинности не только невозможно, но и недальновидно. С чем же оставаться, если не с безусловным?

Другими словами, взрослость удаётся в той мере, в какой ей удаётся забыть жизнь или — что то же самое — забыть смерть. Такое забывание — гарантия прожиточного успеха. Или карьеры. Речь не о служебной лестнице, но об общей упитанности и сытой затуманенности взгляда. Тело заплывчиво, память забывчива.

P. P. S.

При каждом шаге вперёд за мной смыкается прошлое, но художественному оформлению подвластно лишь время, которое не только смыкается, но и кристаллизуется, и его отделяет от сию секунду сомкнувшегося полоса «сырого», неосвоенного материала, того, до которого ещё доходит тепло моего существования, физически чересчур ему близкого.

Конец творчества произойдёт тогда, когда скорость кристаллизации превысит мою. Естественно, для этого моё тепло должно свестись к нулю.

Тогда биография закончится и начнётся БИО.

Декабрь 2006

Содержание

РАЗУМ СЛОВ

«Человеку нужна только
комната...»

«Как ты не любишь, как зима
черна...» 9

«Я люблю твою жизнь, что
согрета теплом изнутри...» 9

Данте 10

«Тихопомешанному
на муравьях...» 10

«Снег — на землю, душа —
от земли...» 11

«В области пчёл, в рыжей стране
с солнечной осью...» 12

«Сквозь тьму непролазную,
тьму азиатскую, тьму...» 13

«Расширяясь течением реки,
точно криком каким...» 14

«Бывали дни безмыслия...» 15

«Где прошлое, в особенности
то...» 16

«Вечер. Капель синь...» 17

«Я жил не в эпоху войны...» 18

«Без отечества по существу...».. 19

«Если заперты рыбы,
прохожий...» 20

«Троллейбус, что ли, крив...» ... 21

«Чем пахнет остывающий уют...» 22

«Ты — лишь инстинкт
переступанья...» 23

«Вот и Нила разлив...» 24

«Скучно жить стало...» 25

«Всё совестней цепляние
за жизнь...» 27

«Над дебаркадером ползёт
чёрно-серое небо...» 27

«Я тоже проходил сквозь этот
страх...» 28

«Я говорю с тобой, милый...» .. 30

«Слушай! Когда тишина
над рекой бессловесна...» 31

«Это город слепых...» 32

«Вы просыпались рано
утром...» 33

«Когда бы знал, что ждёт...» ... 35

«И от любви остаётся
горстка...» 35

«Человеку нужна только
комната...» 36

«Феноменальность жизни
моей, шага...» 37

«Ребёнок спит, подложив
под щеку...» 37

«О радости — как засыпает
мост...» 38

«Домой, домой, домой...» 39

Три времени года
1. «Чередование года
времен...» 40

2. «За ночь снега под дверь
насыпет...» 41

3. «В угол, в уголь смотрел чёрно-синий...»	41	«...так осенью проехать мимо школы...»	64
«Ещё хожу и говорю...»	42	«Этой женщины трудные очертанья...»	64
«В точке мира стоять...»	42	«медлит буксир на реке...»	65
«Я о тебе молюсь...»	43	«Ты тяжёлую дверь otvorил...» ..	66
«Шум, шум, шум...»	44	«вроде кладбища...»	67
«Есть чувства странные, живущие не в сердце...»	45	«Развеселись, теперь развеселись...»	68
«Ехал ученику...»	46	«А дальше-то вот что: под утро ключом...»	68
«Должен снег лететь...»	47	<i>Часть вторая</i>	
«Если это последний...»	48	«Это есть облежание темы...»	71
«...из тех, кто ждёт звонка и до звонка...»	49	«Волнуемое море непрестанно...»	71
«Днём в комнате зимы начальной...»	50	«Странно, что и здесь жизнь...»	73
На ладони		«Это степь, и сухое пространство, как луковица сухое...»	75
1. «Как я свободен...»	50	«Он о бесплодности чувствовал, о пустоте...»	76
2. «Это долгий путь...»	51	«Кто меня перевёртывал на спину...»	78
3. «Я ли при жизни...»	52	«Куда теперь плыву...»	78
«Я шум оглушительный слышу Земли...»		«Я шум оглушительный слышу Земли...»	78
Вступление	55	«Я дальним эхом знал...»	79
<i>Часть первая</i>		«Я верил в бога Ра...»	80
«Чёрно-красная ночь Украины...»	60	«Так посещает жизнь, когда ступня снимает...»	82
«На противоположном берегу...»	61	«Ляжем, дверь приоткроем...» ...	83
«Когда, проснувшись, к тамбуру спеша...»	62		
«Перрон, как в гречневой крупе...»	63		

«Проснувшись от страха, я слышал, он вывел меня...» 83	«Приближение первого...» 102
«Тихий из стены выходит Эдип...»	«О, ядро с ключицы...» 102
«Высокий и узкий мост над путями...» 87	«По коридорам тянет зверем...» 103
«Эти люди — держатели твоего...» 88	«Вестибюля я школьного...» . . . 105
«Кто знает отдельную муку...» . . 88	«Поднимайся над долгоиграющим...» 106
«Голос дышит тяжело...» 89	«Тихим временем мать пролетает...» 107
«Между тем эта вымышленная жизнь...» 90	«Тихий из стены выходит Эдип...» 108
«Шуба. Солнце. Январь...» 91	«Ломкую корочку снега...» 109
Школьники. Весна 92	С дядькой 110
«Квартира в три комнатных рука- ва...» 93	Бабушка видит мужа 111
Стихи памяти отца	«Говорю: вращенье в барабанах...» 112
1. «Ночь. Туман невпродых...» 94	«Вернуться в этот город? Нет, избавь...» 114
2. «Узкий, коричневый, на два замка саквояж...» 94	«Над засушливым учебником...» 114
3. «Я шлю тебе вдогонку город Сновск...» 95	«Квартира окнами на Кировский...» 116
«футбол на стадионе имени...» . . 96	«С кем-то я по каменным ступеням...» 117
«Из пустых коридоров мастики...» 97	«Я вотру декабрьский воздух в кожу...» 118
«В георгина лепестки уставясь...» 98	Болезнь
Памяти Лены Соколовой	1. «Всё это жар...» 120
1. «Мел сыпается с досок...» . . 99	2. «В той лампа есть ночи...» 121
2. «Вот ещё один...» 100	Разворачивание завтрака 123
	«Мать жарит яичницу...» 125

«Это некто тычется там и мечется...»	126	По Кировскому	162
«и одна сестра говорит я схожну...»	127	В сторону Дзержинского сада	163
«Мать исчезла совершенно...» .	129	С латиноамериканского	165
Воскрешение матери	130	«И сказал “Господи”, чтобы Он мог начать...»	
«снял конёк ещё сердце...»	132	«После долгих пауз...»	169
<i>«Вцепившись в слов испод горячий...»</i>		«Мало ли, что хрустят...»	170
«Тридцать первого утром...» ...	135	Рыба	170
«Посреди собраний...»	137	«Там, у зимы возьми...»	171
Воскресение	138	«Дай бессмысленного слова нежного...»	172
«О, по мне она...»	139	«Пространства свежее пальто...»	172
Накануне	140	«Стол дощатый, на столе...» ...	173
Шахматный этюд	141	«Тёмная дорога тёмная...»	174
Театр	143	«О, вечереет, чернеет, звереет река...»	175
Сквозь туннель	145	«Я возьму светящийся той зимы квадрат...»	176
Гольдберг. Вариации		«Я посвящу тебе лестниц волчки...»	177
1. 1955 год	146	«Озера грудной разрыв...»	178
2. Отпуск	147	«Долгие цедаются осени поздней часы...»	179
3. Шахматная	149	«Одичалых одиночек мало ли...»	180
4. День рождения	150	«Тому семнадцать, как хожу кругами...»	181
5. Пятница	151	«Трезвые наступают дни...» ...	182
Пролистывая книгу	152		
ЦПКиО	153		
Футбол	155		
По пути на музыку	156		
Косноязычная баллада	157		
Илиада. Двойной сон	158		
«Полиграфмаш»	161		

«Остановка над дымной	«Увижу библию песка
Невой...» 182	до горизонта...» 210
Льву Дановскому 183	Проезжая песенка 212
«Господи, в комнату вошёл	Вспоминая Пастернака 213
в семь часов...» 185	22 июня 1941 года 213
«Лучшее время —	Памяти Л. 215
в потёмках...» 186	«В полях инстинкта, искренних
«Мост с пятого мне этажа...» ... 186	как щит...» 217
«Открой окно, ползущего	Мария Магдалина 219
червя...» 187	Диптих
«...и сосны, как церковный хор,	1. «Две руки как две
стоят...» 188	реки...» 220
«В бронхах это хрипит	2. «Тук-тук-тук, молоток-
Бронкса...» 189	молоточек...» 221
«Чудной жизни стволы...» 190	Распятие 222
«Свободней говори,	Дерево 223
пожалуйста...» 191	Вещь в двух частях
	1. «Обступим вещь
«Увижу библию песка до гори-	как инобытие...» 224
зонта...»	2. «Шарфа примененье
Утренний мотив 195	нежное...» 225
«На что мой взгляд	Художник
ни упадёт...» 196	1. «С Колокольной трамвай
Шахматы (<i>подстрочник</i>) 197	накренится...» 225
«Хочешь, всё переберу...» 199	2. «Кто сказал, что мир
Эмигрантское 202	настоящий...» 226
«Я жил в чужих домах	Вариант Медеи 227
неприбранных...» 203	Набросок 229
Партитура Бронкса 205	Романс 230
Баллада по уходу 207	Ходасевич 231
Одиночество в Покипси 209	На весах 232

Мотив	233	Живые картины	
«День дожитенный безделья...»	234	1. «...в маленькой зиме...» ..	259
В поезде	235	2. «Выхватыватель жизнестрок!..»	260
В блокнот	236	3. «В вечернем воздухе завис...»	261
Обход с Достоевским	237	4. «Вот женщина у выхода...»	261
Сентиментальное прощание ..	240	Грифцов политизированный	
Баллада о театре	241	1. «Как на ладони Грифцову предстала...»	262
Заболоцкий в «Овощном» ..	243	2. «— Что умеешь? — спрашивает Испытующий...»	263
Лирика	245	3. «И однажды, когда он стал Всевластным...»	263
<i>«Грифцов», элегии и другие стихи</i>		4. «Так увидел Грифцов. А когда бледно-зелёный...»	264
Любовь	249	Грифцов на митинге	264
Выходной	249	Грифцов и Давид	
На уроке	250	№ 5	265
Библейский сон	251	№ 11	266
Первое свидание	252	№ 143	266
Грифцов прогулочный		Грифцов-Орфей	268
1. «Кто этот винодел, который свёл...»	253	Обрыв фильма	268
2. «Надо где-то рядом погулять...»	253	Грифцов — переводчик Джойса	270
В обратной перспективе	254	Грифцов и Вторая Книга царств	
Два возвращения	255	1. «Болен твой брат, сестра...»	271
Семь плюс один	256	2. «Глаза закрою — и реву...»	272
Утро	256	3. «— Стали позором, брат...»	273
Грифцов — переводчик Шекспира			
№ 135	257		
№ 136	258		
№ 137	258		

Грифцов и Беккет	3. «Мне рай привиделся, не наша требуха...»	273	304
1. «Вас, беккетовских двух, прижатых...»		273	
2. «Пойдём? Я приготовился... — О Господи...»		273	
Два грифцовских сонета	Апории		
1. «Громожденье каменистых туч...»	1. «Жизнь вынашивает воспоминание...»	275	305
2. «Сознание овцы, жующей...»	2. «Едва касаюсь лезвия болезни...»	276	305
Диалог Грифцова со своей душой	3. «Я почувствовал: скоро. Тихо...»	276	306
Весна	Периферия	278	307
Элегия. Воплощение	Три стихотворения	278	
Элегия. Пришествие	1. Одни	280	310
Элегия. Плавание	2. Пригород	282	311
Элегия. Под линзой	3. Он	285	313
Элегия. Кузина в 1973 году	Посещение	286	314
Из Лидии Гинзбург	Осень	288	315
Железнодорожное полотно	Перед отлётом	289	316
По-весть	Романс на одной ноге	290	317
Этюд	Шекспириада	293	317
Город-вариация	Стихи	294	319
Ода осени	СТЕСНЁННАЯ СВОБОДА	296	
Козлиная песнь	<i>Книга Александра</i>	297	
Письмо Гоголя	Пролог	298	325
Из Достоевского	1. «когда из двух углов из двух углов...»		326
1. «День сероват, но сух...»	2. «Яхты, яхты, солнце, как ты тиха...»	300	327
2. «Я что хочу сказать? Проникнутое...»	3. «Вот гора, вот блик, гора, блик...»	302	328
	4. Две песни		330

5. «— Двое смотрят на меня детей...»	331	13. Философия I	357
6. «Закрыть лицо рукой, лицо рукой...»	332	14. Историчка	358
7. «Это, остановленная горем...»	333	15. Лирическое отступление ..	359
8. «Если свет, доходящий с неба...»	334	16. Цикада	359
9. Эвридика	335	17. Шарманка (3)	360
10. Медея	336	18. Вечер	361
11. Александр — Медее (1) ...	337	19. Ночь	361
12. Александр — Медее (2) ...	337	20. Тарховка (В)	363
Эпилог	339	21. Процесс	364
<i>Школьный вальс</i>		22. Шарманка (4)	365
Посвящение № 1	343	23. Урок русского/ литературы	365
Посвящение № 2	344	24. На дачу	366
Посвящение № 3	344	25. Рябинкова и Антон	367
1. Матвеева, Зотикова и Антон	344	26. Веранда бытия (б)	369
2. Серебряков	346	27. Под Новый год	369
3. Белова	347	28. Шарманка (5)	370
4. Александр Старший	348	29. После школы	371
5. Шарманка (1)	349	30. Пение и рисование	371
6. Иван Иваныч	349	31. Времена года	373
7. Матвеев	351	32. Импровизация	374
8. Тарховка (А)	352	33. Философия II	376
9. Веранда бытия (а)	353	34. Шарманка (6)	376
10. Классная баллада	353	Послесловие № 1	377
11. Шарманка (2)	355	Послесловие № 2	378
12. Первое сентября	355	Послесловие № 3	378
		<i>Исчезновение</i>	
		«птица копится и цельно...» ...	381
		«Любезный брат и друг духовных выгод...»	381

Безумец	383	«Возьмите летящего вдоль воробья...»	408
Цапля	384	Астролябия жизни	409
Мелодия	385	Стихи для Елены	
На юге	386	1. «стремянка за кухонной дверью...»	410
Классическое	387	2. «Прийти туда платановой тенистой улочкой...»	412
Два птичьих фокуса		Ода одуванчику	413
1. Зимой	388	«завёрнутая в одеяло...»	414
2. Летом	388	«Как у зеркала, напомаживая губы...»	415
Ночь («Дежурный чай. Сиди, немей. Длина...»)	389	«Когда я поворачиваюсь на бок...»	416
Прогулка	390	Начало	417
Жизнеописание	391	«Вот ранняя весна. Ясна равнина...»	419
«В пехотный холод снаряжайся...»	392	Р. S.	420
На фоне города	393	«В голове у голубя...»	420
Из Катуллы	393	«Я более люблю...»	421
Толстой	394	Исчезновение	422
Покупка	398	<i>Согласие</i>	
Начало зимы	399	Событие жизни	425
«Случается, днём переулочным...»	399	Вечер («Чтение книги в квартире пустой...»)	425
«Боже праведный, голубь смертельный...»	400	Мгновенный снимок	426
Музыкальная пьеса	400	Наутро	427
Сон памяти друга	403	Живые и мёртвые	428
Памяти Льва Дановского	405	Учтивость	429
Памяти Володи Дворкина	405	Природа и мы	429
«Женщина смотрит на беглые очертанья...»	406		
«Мы остались на поверхности земли...»	408		

Человек	430	С похорон	453
Себя б	431	Исток	454
Сказка	431	Дитя возле пекарни	455
Бинокль	432	Она	456
Мышь	432	У стены	456
Причастие	433	Родители на закате дня	457
Фотография	433	День Мандельштама	458
Ходасевич в столовой	434	Возле телефона	458
Испуг	435	Стоп-кадр	459
Старик	435	Шпалерная	460
Слово	436	Ковчег	461
Счастье	436	Ночные вещи	
Стрижка	437	1. «На красном стуле, возле...»	462
Завтрак	438	2. «Выгляни — снегоуборочный...»	463
На пороге	438	3. «Вот в счастливейшем он позднем детстве...»	463
Тост	439	4. «зелёного лука с бородкой пучок...»	464
По телефону	440	5. «Вероятность родиться собой...»	464
Рядом	440	<i>Читающий расписание</i>	
За гранью	441	День ноябрьский	467
Сон	441	1. По досточке	467
Взгляд	442	2. В яркости	468
Ночь на 3 апреля		3. Бывает, снег идёт	468
2009 года	443	4. Жена	469
Суть дела	444	5. В паре	470
Юность	445	6. Часы и очки	470
Рождение времени	446		
Радиоспектакль «Иванов»	447		
Здесь и там (романс)	448		
Вина	450		
Роль	451		
Ода Оле Головиной	452		

7. Диктант	471	Техника расставанья	
8. Забытьё	472	1. «Надо отладить технику расставанья...»	496
9. В поздний час	473	2. «Расставанье — окна любви и сетования...»	497
10. На отшибе	474	3. «Когда собирается вроде тучи...»	498
11. Оборона	474		
12. Орёл	475	<i>Видение</i>	
13. В выходные	476	I	
14. Когда метель	476	1. «Холоден пейзаж и нем...» ..	501
15. Приятель	477	2. «Неба школьная доска...» ..	501
16. Горесть и отрада	478	3. «Дальше, мимо гаражей...»	502
17. Еду на работу	479	4. «Дальше, в подворотне лязг...»	502
18. Флюиды	480	5. «За верёвку потяни...»	502
19. Будень	481	6. «Вот она передо мной...» ..	503
20. Охота	481	7. «Перескок в весну, толпа...»	503
21. Перельман, Лида и я	483	8. «Трепет марлевый, сачок...»	504
22. Некрасов, Лида и я	483	9. «Мир блистает на ветру...»	504
23. С Лидой	484	10. «Нарождается листва...» ..	504
24. Письмо	486	11. «Баснословные края...» ..	505
25. Письма брату		12. «Вот Аптекарского тишь...»	505
1. «Брат, мой подвиг (в кавычках) ратный...» ..	486	II	
2. «Одиночество, брат, такое...»	487	1. «Только зрение и слух...» ..	506
26. После кладбища	488	2. «Где ключи? Ищи-свищи...»	506
27. Ночью	489		
28. Приёмный день	490		
29. Монолог	491		
30. Точка	492		
31. Блокадная баллада	493		
32. Проблеск	494		
33. Вечер	496		

3. «Вновь декабрь. С другой зайду...»	506	8. «Кто всё это говорил...»	514
4. «Праздничный отец вдали...»	507	9. «Брат дошёл до края мест...»	514
5. «В зеркале смеётся мать...»	507	10. «Точка. Брошено жильё...» ..	515
6. «Пахнет хвоей. Эти дни...»	508	11. «Пустота меня язвит...»	515
7. «Тишина. Горит ночник...»	508	12. «Иссыкает жизнь, и страсть...»	516
8. «Так точильные круги...» ..	508	<i>Аркадия</i>	
9. «Так в Истории следы...» ..	509	1. Пролог	519
10. «Плачущий стоит отец...»	509	2. Рассвет	519
11. «Мать усталая сидит...»	510	3. Пир	520
12. «В этом сне, где снег гурьбой...»	510	4. Жираф	521
III		5. Флейта Марсия	522
1. «Белый холод. Снег слепащ...»	511	6. Вразумление юноши	523
2. «Мимо лодочной пустой...»	511	7. Вдвоём	523
3. «Каменноостровский луч...»	512	8. Бегемот	524
4. «Здесь мерцал когда-то день...»	512	9. На курорте	525
5. «Залетейский брат мой, пир...»	512	10. Анакреонт	526
6. «Под рукою пунш и ром...»	513	11. Черепаха	526
7. «Тихий голос: “Научу...” ..	513	12. На равнине рая	527
		13. С Франциском	528
		14. Жонглёр перед Марией с Младенцем	529
		15. Любовь	530
		16. Песнь Песней	530
		17. Творчество	531
		18. Иеффай	532
		19. Бессмертие	533
		20. Начало	533
		21. Буддийский мотив	534

22. Давид славит	535	29. Слон	540
23. Возникновение	535	30. В шведской деревне	541
24. Метаморфозы	536	31. Гольфистка	541
25. На поводке	537	32. Давид благодарит	542
26. Роспись на вазе	538	33. Апрель	543
27. Кадр с повтором	538		
28. Рифей	539	<i>БИО</i>	545

Литературно-художественное издание

Серия «Поэтическая библиотека»

Владимир Аркадьевич Гандельсман

РАЗУМ СЛОВ

Редактор

Татьяна Тимакова

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Подписано в печать 3.07.2015

Формат 70x108¹/₃₂. Бумага офсетная.

Гарнитура CharterС. Печать офсетная.

Тираж 1000 экз. Заказ №

«Время»

115326, Москва, Варшавское шоссе, 3

<http://books.vremya.ru>

e-mail: letter@books.vremya.ru

Телефон: (495) 954 10 82

Отпечатано в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»»

620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru>

book@uralprint.ru



Владимир Гандельсман родился в Ленинграде. Закончил Ленинградский электротехнический институт. Работал инженером, сторожем, кочегаром, гидом, грузчиком. С 1990 года живет в США, преподает в колледже. За книгу «Ода одуванчику» удостоен премии «Московский счёт» (2011).

«Стихи <Гандельсмана> поражают интенсивностью душевной энергии», «ошеломляют буквальностью чувств, голой своей метафизичностью, отсутствием слезы», «в них есть» «любовь любви, любовь к любви — самая большая новация в русском стихе, в этом веке запечатленная».

Иосиф Бродский



ИЗДАТЕЛЬСТВО



BOOKS.VREMYA.RU